АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия «От молекулы до организма»

П. В. СИМОНОВ, П. М. ЕРШОВ

ТЕМПЕРАМЕНТ ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1984

Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. М.: Наука, 1984.

Кпига члена-корреспондента АН СССР, доктора меди­цинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведе­ния П. М. Ершова посвящена популярному изложению ес­тественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. В ряде глав использовано творческое наследие К. С. Ста­ниславского, касающееся воссоздания характеров действую­щих лиц и принципов актерского перевоплощения в инди­видуальность изображаемого персонажа. Книга представ­ляет интерес для самого широкого круга читателей — фи­зиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связей с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориен­тации людей.

Ответственный редактор

доктор медицинских наук

М. Г. АЙРАПЕТЯНЦ

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Индивидуальность человека, ее естественнонаучные основы, социальная природа и проявления в повседнев­ной жизни представляют интерес, в сущности, для каж­дого, кто так или иначе вовлечен в работу с людьми. Проб­лема индивидуальности живо интересует и руководителя производственного коллектива, и педагога-воспитателя, и врача-психоневролога. Кратко говоря, она интересует нас всех. Что же касается индивидуальности как объекта изучения, как предмета анализа, то в наибольшей мере ею занимается наука о высшей нервной деятельности че­ловека, дифференциальная психология и ... искусство, в особенности художественная литература, драматургия, искусство театра. Последнее обстоятельство и определило творческое содружество авторов этой книги, один из ко­торых является психофизиологом, а второй — деятелем искусства.

Доктор медицинских наук, профессор П. В. Симонов на протяжении последних двух десятилетий систематиче­ски исследует закономерности и механизмы эмоциональ­ных реакций человека и высших животных. К проблеме индивидуальных различий он подходит с позиций сфор­мулированной им потребностно-информационной теории организации поведения. Кандидат искусствоведения, ре­жиссер и театральный педагог П. М. Ершов творчески развивает теоретическое наследие К. С. Станиславского. Таким образом, предлагаемая вниманию читателей книга дважды междисциилинарна — и по характеру своего со­держания, и по обращению к самой широкой читательской аудитории.

Известно, что взаимный интерес и стремление к лич­ным контактам возникло между творцом учения о типах высшей нервной деятельности (темпераментах, характе­рах) И. П. Павловым и создателем «метода физических действий» К. С. Станиславским[[1]](#footnote-2). К сожалению, смерть И. П. Павлова оборвала намечавшееся в то время содру­жество. Книга П. В. Симонова и П. М. Ершова как бы

продолжает интереснейшую тенденцию, возникшую пол­века тому назад в истории отечественной культуры.

Новизна подхода к проблеме и чрезвычайная сложность самой проблемы неизбежно делают ряд положений книги достаточно дискуссионными. Впрочем, авторы книги и не претендуют на исчерпывающее решение затрагиваемых ими вопросов, они скорее ставят эти вопросы, подлежащие дальнейшей теоретической и экспериментальной разработке. Вот почему хотелось бы, чтобы над книгой П. В. Симонова и П. М. Ершова задумались представители самых различных областей теории и практики, ис­ходя из своих собственных профессиональных интересов.

*Доктор медицинских наук*

*М. Г. Айрапетянц.*

# ВВЕДЕНИЕ

*Мы должны знать, какова человеческая*

*при­рода вообще и как она модифицируется в*

*каж­дую исторически данную эпоху.*

К. Маркс[[2]](#footnote-3)

«Темперамент», «характер», «личность» — в этих по­нятиях исходно содержится сложная внутренняя диалек­тика. Мы используем их для определения человеческой индивидуальности — того, что отличает данного человека от всех остальных, что делает его уникальным. Вместе с тем мы заранее предполагаем в этой уникальности черты, общие с другими людьми, иначе всякая класси­фикация, да и само употребление перечисленных поня­тий, потеряла бы смысл. Какие же именно черты, сто­роны, качества, особенности человека отражает каждое из этих понятий? Слова «темперамент», «характер», «личность» употребляются нами постоянно и повсеместно, они нужны и свою роль выполняют. В повседневном об­щении в каждое из них вкладывается достаточно опре­деленный смысл и с их помощью достигается взаимопо­нимание.

Человеку свойственно желание знать самого себя и знать других или конкретного другого. Знать другого, чтобы знать себя, или знать себя, чтобы знать другого? Вероятно, здесь присутствует и первое, и второе. Вечная жажда самопознания подтверждается фактом существо­вания художественной литературы. Именно она и только она, в большей степени, чем другие искусства, дает вам знание души другого. Но в искусстве эти знания выра­жены метафорически, они непереводимы на язык поня­тий и именно потому достигают своей цели, свидетель­ствуя о неповторимом своеобразии каждого человека, образа художественной литературы, о чрезвычайной цен­ности этой неповторимости. В ней жизненная достовер­ность самой жизни — ее движения, ее богатства, ее не­исчерпаемости.

Описательные определения понятий «темперамент», «характер», «личность» можно найти в любом энцикло­педическом или толковом словаре.

Темперамент — «характеристика индивида со стороны динамических особенностей его психической длительно­сти, т. е. темпа, ритма, интенсивности отдельных психи­ческих процессов и состояний. В структуре темперамента можно выделить три главных компонента: общую актив­ность индивида, его двигательные проявления и эмоцио­нальность»[[3]](#footnote-4). Ну, а характер?

Характер — «целостный и устойчивый индивидуаль­ный склад душевной жизни человека, ее тип, «нрав» человека, проявляющийся в отдельных актах и состоя­ниях его психической жизни, а также в его манерах, при­вычках, складе ума и свойственном человеку круге эмо­циональной жизни. Характер человека выступает в каче­стве основы его поведения...»[[4]](#footnote-5). В первый момент ка­жется, что определения темперамента и характера прак­тически совпадают, хотя появилось и нечто новое: склад ума, манеры, привычки. Однако в своей повседневной житейской практике мы вряд ли спутаем темперамент человека с его характером. Именно характер, а не тем­перамент мы назовем сильным, слабым, твердым, мягким, тяжелым, плохим, настойчивым, труднопереносимым и т. д. Определений, пригодных для описании темпера­мента, в языке гораздо меньше: бурный, неукротимый, вялый... Пожалуй, удобнее всего по-прежнему пользо­ваться терминологией древних греков, подразделяя чело­вечество на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Интуитивно ощущаемое различие, несовпа­дение темперамента и характера подсказывает, что в ос­нове этого различия лежат какие-то существенно разные проявления индивидуальности.

В темпераменте преимущественно выражается отно­шение человека к происходящим вокруг него событиям. Датский художник X. Бидструп в серии юмористических рисунков изобразил реакцию четырех субъектов на одно и то же происшествие: незнакомый прохожий нечаянно сел на шляпу отдыхавшего на скамейке господина. В ре­зультате холерик пришел в ярость, меланхолик страшно огорчился, сангвиник — рассмеялся, а флегматик невоз­мутимо надел шляпу себе на голову.

Характеры выявляются в действии — активном, целе­устремленном, нерешительном, покорно-подражательном и т. д. Общее же между ними состоит в том, что ни темперамент, ни характер ничего не говорят нам о со­циальной ценности данного человека: обладающий отвра­тительным характером холерик может преследовать воз­вышенные цели, а мягкий и уступчивый сангвиник ока­зывается отъявленным негодяем.

Социальные качества человека обнаруживаются в его личности, поскольку личность — «устойчивая система со­циально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности»[[5]](#footnote-6). Личность включает в себя и темперамент, и характер человека, но не ограничивается ими, поскольку личность — «ядро, ин­тегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее его пове­дению необходимую последовательность и устойчивость»[[6]](#footnote-7). Хотя понятие «личность» занимает самое высокое поло­жение в иерархии терминов, характеризующих индивидуальность, наш словарь для описания личности поразительно беден: крупная, яркая, выдающаяся, бесцветная, мелкая, серая, — дальше подобного рода определений мы не идем. Сколь бы ни были спорны попытки классифи­кации темпераментов и характеров, но они существуют, причем некоторые из них живут па протяжении тысяче­летий. *Классификации личностей нет вообще*. Нельзя же считать подобной классификацией выражения типа «личность подростка», «личность преступника» и т. д.

Впрочем, классифицировать можно по-разному. Прежде всего, чисто описательно, наблюдая сходные черты в поведении, реакциях, поступках, эмоциях раз­личных представителей человеческого рода. Но истинная классификация начинается только тогда, когда обнару­живается некоторый принцип (ключ, правило, закон), предопределяющий именно такую систематизацию наблюдаемых явлений. Так, периодическая *система* хими­ческих элементов покоится на открытии периодического закона нарастания атомного веса этих элементов. И вся история попыток классификации индивидуальностей есть, в сущности, история поисков классифицирующего принципа.

Античные авторы полагали, что психический склад человека, индивидуальные особенности его поведения определяются соотношением четырех жидкостных сред организма: крови, желчи, черной желчи и лимфы. Греческие названия этих жидкостей дали имя классифи­цируемым темпераментам. Эмпирическая классифика­ция темпераментов осталась, а версии об ее основе оказалась ложной. Философ И. Кант придавал главен­ствующее значение индивидуальным особенностям крови, а русский физиолог П. Ф. Лесгафт — свойствам крове­носных сосудов. Немецкий психиатр Э. Кречмер и аме­риканский ученый У. Шелдон считали, что психический склад индивидуума определяется его телосложением, его общей телесной конституцией. Не следует думать, что такого рода представления были сплошным заблуждением. Тщательные исследования показывают, что в про­цессе длительной эволюции некоторые черты строения тела высших организмов оказались «сцеплены» с особен­ностями строения и функций нервной системы, которые сказываются на особенностях поведения[[7]](#footnote-8). Но в данном случае речь идет о связях очень косвенных, отдаленных, лишенных предсказующей силы в отношении сложных форм поведения субъекта. Вот почему поистине револю­ционным моментом в истории изучения естественнонауч­ных основ индивидуальных различий явилось учение Ивана Петровича Павлова о типах нервной системы человека и животных. Поскольку высшая нервная (психи­ческая) деятельность, определяющая внешне реализуе­мое поведение, есть функция головного мозга, именно в тонких деталях деятельности мозга следует, по мысли Павлова, искать причину индивидуальных различий психики и поведения.

В подходе Павлова к этой проблеме можно выделить три уровня анализа, разработанных самим Павловым да­леко не в одинаковой мере.

Во-первых, это, если можно так выразиться, *микро­уровень*, т. е. свойства процессов возбуждения и тормо­жения нервных клеток — их сила, уравновешенность и подвижность. Результаты экспериментов с условными рефлексами и многолетние наблюдения за поведением собак привели Павлова к мысли о том, что типы нервной системы, аналогичные темпераментам античных авторов, являются общими для человека и высших млекопитаю­щих животных. В классификации Павлова холерику со­ответствует сильный возбудимый неуравновешенный тип, а меланхолику — слабый. Сангвиник — сильный уравновешенный подвижный тип по Павлову, а флегматик — сильный уравновешенный инертный. Со свойственной ему наблюдательностью Павлов отметил характерные черты эмоциональности, присущей каждому из основных типов. По мнению Павлова, сильный неуравновешенный тип склонен к ярости, слабый — к страху, для сангвиника характерно преобладание положительных эмоций, а флег­матик вообще не обнаруживает сколько-нибудь бурных эмоциональных реакций на окружающее. Павлов писал: «Возбудимый тип в его высшем проявлении — это боль­шей частью животные агрессивного характера… Край­ний тормозимый тип — это то, что называется трусливое животное»[[8]](#footnote-9).

Основывая свою классификацию на свойствах возбуж­дения и торможения, Павлов не ограничился этим уров­нем. Он проницательно понимал, что путь от элементар­ных нервных процессов к внешне реализуемому поведе­нию лежит через взаимодействие *макроструктур* — раз­личных функционально специализированных отделов го­ловного мозга. Считая крайние типы — сильный неурав­новешенный и слабый — основными «поставщиками» нервно-психических заболеваний, прежде всего неврозов, Павлов подчеркивал, что для истерии весьма характерна эмотивность, «а эмотивность есть преобладание ... функ­ций подкорковых центров при ослабленном контроле коры… истерический субъект живет в большей или меньшей степени не рассудочной, а эмоциональной жизнью, управляется не его корковой деятельностью, а. подкорковой»[[9]](#footnote-10). Выделив «специально человеческие типы художников и мыслителей» с преобладанием первой (образно-конкретной) или второй (речевой, абстрактно-обобщенной) сигнальной системы действительности, Павлов видел в основе классификации опять-таки особенности функционирования мозговых макроструктур. У «художников, — писал Павлов, — деятельность больших полушарий, протекая во всей массе, затрагивает всего меньше лобные их доли и сосредоточивается главнейшим образом в остальных отделах; у мыслителей, наоборот,— преимущественно в первых»[[10]](#footnote-11). Заметим, что сегодня мы, по-видимому, предпочтем рассматривать павловские «спе­циально человеческие» типы как результат функциональ­ной асимметрии больших полушарий головного .мозга, где «художественному типу» будет соответствовать относи­тельное преобладание правого (неречевого) полушария. Открытие специфических функций правого и левого полу­шарий головного мозга явилось подлинным триумфом идеи Павлова о «художественном» и «мыслительном» ти­пах как полюсах, между которыми располагается все многообразие промежуточных форм высшей нервной дея­тельности человека.

Анализ индивидуальных различий на макроуровне взаимодействия мозговых структур подвергся дальнейшей разработке главным образом в трудах советских (В. М. Теплов, В. Д. Небылицын) и английских (Г. Айзенк, Дж. Грей) исследователей. Теплов и Небылицып пришли к обоснованному выводу о том, что сле­дует говорить скорее не о типах, а о свойствах нервной системы, комбинация которых характеризует ту или иную индивидуальность. Особое значение при этом имеют так называемые общие свойства нервной системы, среди ко­торых В. Д. Небылицын выделил активность и эмоцио­нальность. Он полагал, что в основе активности лежат индивидуальные особенности взаимодействия возбуждаю­щей ретикулярной формации мозгового ствола и передних (лобных) отделов повой коры, в то время как эмоцио­нальность определяется индивидуальными особенностями взаимодействия лобных отделов коры с образованиями лимбической системы мозга (структуры, регулирующие сферу мотиваций и эмоций). По мнению Г. Айзенка, индивидуальные особенности взаимодействия восходящей (активирующей) ретикулярной формации с лобной корой определяют вариации силы или слабости нервной системы по Павлову, а также параметр экстра- или иптровертированности (о нем мы подробнее расскажем ниже). К этой системе мозговых образований Дж. Грей добавил гиппокамп и внутреннюю часть так называемой пере­городки.

В подходе Павлова к проблеме индивидуальных раз­личий, помимо микроуровня (особенности процессов воз­буждения и торможения нервных клеток) и макроуровня взаимодействия различных отделов головного мозга, мы находим третий уровень анализа высшей нервной (пси­хической) деятельности — как деятельности *мозга в це­лом*, обогащенной индивидуально приобретенным опытом, аккумулированным в системе прижизненно возникающих условнорефлекторных связей. Благодаря второй (рече­вой) сигнальной системе субъект присваивает и опыт предшествующих поколений, достижения культурной эво­люции человечества. Именно на этом уровне целостной деятельности мозга Павлов рассматривает темперамент в характер как составляющие индивидуально неповто­римой личности. «Личность человека, — писал И. П. Пав­лов, — определяется как биологической наследственностью, так и средой. Сила нервной системы (темперамент) — прирожденное свойство, характер (форма поведения) во многом состоит из приобретенных привычек»[[11]](#footnote-12).

Важно попять, что физиологическая организация мозга, индивидуальные особенности его функционирова­ния и содержательная сторона психики, формирующаяся в результате социального воспитания, — не абсолютно са­мостоятельные категории. Выводить содержательную сто­рону психики из наследственных задатков столь же не­лепо, как отрицать роль этих задатков в особенностях усвоения субъектом социального опыта. Прямолинейный детерминизм здесь заранее обречен. Иное дело, если мы перейдем на позиции вероятностного детерминизма, при­знавая, что один и тот же социальный опыт, предлагае­мый окружающей средой, будет усваиваться различно в зависимости от индивидуальных особенностей субъекта. Эту диалектику общего и сугубо личного ярко описал академик Д. К. Беляев: «…нет специальных генов, на­пример, гуманизма или альтруизма или генов антисоци­ального поведения. Но есть генетически детерминированные свойства психики, сочетание которых, преломляясь через определенные социальные условия, способствует формированию либо человека с высоким чувством совести, испытывающего отвращение не только к преступной деятельночти, но и к карьеризму и стяжательству, либо же человека, который плохо понимает, что такое совесть, со всеми вытекающими отсюда последствиями»[[12]](#footnote-13).

Противоречие между частным, индивидуально непо­вторимым в личности и тем общим, что делает личность предметом научного анализа, снимается заменой класси­фицирования (группировки) людей определением *пара­метров* их индивидуальности. Именно на этот путь встали В. М. Теплов и В. Д. Небылицын, перейдя от «типов нервной системы» к изучению «свойств нервной системы». Но параметры не могут быть выбраны произ­вольно, они должны соответствовать наиболее существен­ным компонентам внутренней структуры личности, харак­теризовать и по возможности измерять наиболее суще­ственные ее черты.

Те параметры, о которых в дальнейшем пойдет речь, подсказаны нашим общим потребностно-информационным подходом к высшей нервной (психической) деятель­ности человека. Суть этого подхода, экспериментальные доказательства его правомерности и продуктивности мно­гократно излагались на протяжении последних двух де­сятилетий одним из авторов (П. В. Симоновым). Эти многочисленные публикации делают излишним повторное описание деталей наших теоретических и эксперимен­тальных исследований. Мы можем ограничиться лишь напоминанием тех основных положений, которые легли в основу нашего подхода к проблеме индивидуальных различий.

Прежде чем перейти к изложению этого подхода, под­черкнем, что умение видеть, понимать, знать индивиду­ально неповторимые особенности конкретного человека имеет исключительное значение для целого ряда профес­сий. Отсутствие такого умения в деятельности руководи­теля-администратора, педагога, врача, юриста резко сни­жает продуктивность его профессиональных усилий. Впрочем, можно ли упрекать практиков в том, что еще не открыто, не установлено, не сформулировано самой наукой?

Мы повседневно встречаем специалистов (администра­торов, педагогов, врачей, юристов и т. д.), которые обла­дают умением тонко фиксировать индивидуальные осо­бенности психического склада окружающих людей и с успехом применяют это умение в своей практической деятельности. Мы справедливо называем их талантли­выми, поскольку их работа напоминает искусство. В ра­боте с людьми элементы искусства останутся, по-види­мому, всегда — это определяется самой уникальностью, неповторимостью человеческой личности; и все же с каж­дым новым шагом науки о человеке вероятность дефектов в процессе воспитательной, управленческой, медицинской и т. п. практики будет неуклонно снижаться, а ее эффек­тивность — возрастать. Нужно ли говорить о том, какой это мощный стимул для исследовательской мысли!

# В ПОИСКАХ

# ПАРАМЕТРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

*Первые понятия, с которых начинается*

*ка­кая-нибудь наука, должны быть ясны и*

*при­ведены к самому меньшему числу. Тогда*

*только они могут служить прочным и*

*доста­точным основанием учения.*

Н. И. Лобачевский[[13]](#footnote-14)

Отказ от взгляда на мышление человека, как на пер­воисточник и движущую силу его деятельности, — призна­ние потребностей исходной причиной человеческих по­ступков представляет начало подлинно научного объяс­нения целенаправленного поведения людей. По словам Энгельса, «люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, ко­торое овладело умами, в особенности со времени гибели античного мира»[[14]](#footnote-15). Вопрос о том, как именно и в какой мере люди осознают движущие ими потребности, мы рас­смотрим ниже, а сейчас нам важно напомнить, что «никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности»[[15]](#footnote-16). Мы полагаем, что эти принципиаль­нейшие утверждения основоположников марксизма да­леко не в полной мере учитываются комплексом наук, занятых исследованием человека. Но прежде, чем двинуться дальше, попробуем уточнить, что такое «потреб­ность».

Потребность есть специфическая (сущностная) сила живых организмов, обеспечивающая их связь с внешней средой для самосохранения и саморазвития, источник ак­тивности живых систем в окружающем мире. Сохранение и развитие человека — проявления этой силы, возможные лишь потому, что в мире существуют предметы его вле­чений «как не зависящие от него *предметы*; но эти пред­меты суть предметы его *потребностей*; существенные для ­проявления и утверждения его сущностных сил *пред­меты*»[[16]](#footnote-17). Соответственно поведение мы определим как та­кую форму жизнедеятельности, которая может изменить вероятность и продолжительность контакта с внешним объектом, способным удовлетворить имеющуюся у орга­низма потребность.

Трансформация потребности во внешне реализуемое поведение проходит ряд ступеней «опредмечивания», т. е. *мотивации*. Трансформация потребностей есть, в сущ­ности, главный предмет их изучения. В ней — путь (иногда длинный и сложный, иногда до примитивности очевидный) от исходной потребности до ближайшей кон­кретной мотивировки сиюминутного поступка или даже простейшего действия.

Выше уже упоминалось о том, что, если даже человек точно знает, чего он хочет, он не всегда уверенно ответит на вопрос, почему он этого хочет. Конец пути ясен, прост, очевиден; о начале только догадки, предположения. Между тем конец в значительной мере зависит от на­чала. В какой степени он предрешен началом? Что еще, помимо начала, и в какой мере определяет конец? Во что, в какую мотивацию трансформировалась у данного че­ловека данная потребность? И если при ясном конце, итоге трансформации, начало ее неясно, то что тогда считать этим началом? Его поиски ведут к попыткам классификации потребностей — тех начал, из которых рождается поведение человека вплоть до простейшего, ближайшего поступка.

Далее, оказалось, что различные потребности (и по происхождению, и по ступеням трансформации — «опред­мечивания», конкретизации) не только бывают постоянно взаимосвязаны, но выступают нередко столь слитно, что практически являются одной, единой потребностью — ито­гом разных, далеких одного от другого начал. Поэтому классификация конкретных потребностей представляется задачей безнадежной. Психолог К. Обуховский[[17]](#footnote-18) насчитал более сотни существующих (предложенных в разное время разными авторами) классификаций. Их число, мы полагаем, может служить подтверждением бесплодности подобных попыток.

В основе мотивации лежит физиологический механизм активирования хранящихся в памяти следов (энграмм тех внешних объектов, которые способны удовлетворить имеющуюся у организма потребность, и следов тех дей­ствий, которые способны привести к ее удовлетворению. Не существует мотивации без потребности, но вполне возможно встретить потребность, не ставшую мотива­цией. Так, человек может испытывать острейшую по­требность в витаминах и не быть мотивированным к их получению, поскольку он не знает о причине своего со­стояния. Собака, лишенная коры больших полушарий головного мозга, под влиянием голода (потребности в пище) приходит в состояние сильнейшего двигатель­ного возбуждения. Тем не менее, говорить о пищевой мо­тивации здесь нельзя, поскольку собака не прикасается к пище, лежащей у нее под ногами. Своим оперативным вмешательством мы нарушили у собаки те мозговые структуры, которые необходимы для «опредмечивания» возникшей у нее потребности. В результате потребность не трансформировалась в конкретный мотив.

На основе врожденного и, главным образом, ранее приобретенного индивидуального опыта происходит про­гнозирование не только предмета удовлетворения потреб­ности (что необходимо получить?), но и вероятности (возможности) получения или избегания жизненно важ­ного фактора, если последний вреден, нежелателен для организма. Эту оценку субъект производит, сопоставляя информацию о средствах (знаниях, навыках, энергетиче­ских ресурсах, времени и т. д.), *предположительно необходимых* для удовлетворения данной потребности в данных обстоятельствах, с наличной, вновь поступившей или поступающей информацией о средствах, которыми он реально располагает. Подобная оценка может происхо­дить как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне, а ее интегральным результатом явится эмоция — отражение мозгом человека и животных какой-либо ак­туальной потребности (ее качества и величины) и ве­роятности ее удовлетворения в данный момент. Низкая вероятность удовлетворения потребности ведет к возник­новению отрицательных эмоций, которые субъект стре­мится минимизировать, т. е. ослабить, прервать, предот­вратить. Возрастание вероятности удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом порождает по­ложительные эмоции, активно максимизируемые субъек­том с целью их усиления, продлевания, повторения. Та­ковы основные положения «информационной теории эмоций», предложенной одним из нас (П. В. Симоновым) в 1964 г.

Нетрудно видеть, что информационная теория охва­тывает и отражательно-оценочную и регуляторные функ­ции эмоций. Соотнося события внешнего мира с потреб­ностями организма, эмоции оценивают значение этих со­бытий для субъекта, ибо значимо только то, что может либо способствовать, либо препятствовать удовлетворе­нию потребностей. Эмоции оказываются универсальной *мерой* значимости, своеобразной «валютой мозга». Вспомним, что и в сфере экономики цена представляет собой весьма динамическую величину, зависящую от соотноше­ния спроса (потребности) и предложения, т. е. возмож­ности эту потребность удовлетворить. Категория цены возникает только в случае обмена, сравнения объектов, подлежащих оценке. Точно так же роль эмоций отнюдь не сводится к простому сигнализированию полезного или вредного. Эмоции дают возможность выяснить, что и в какой мере представляется наиболее важным для орга­низма, требует первоочередного удовлетворения.

Многообразные регуляторные функции эмоций обус­ловлены их отражательно-оценочной функцией, вытекают из нее. Минимизация отрицательных эмоций и максимизация положительных организуют поведение в системе координат «потребность — возможность ее удовлетворе­ния». Дело в том, что разные, часто противоречащие одна другой потребности, трансформируясь в конкретные по­ступки, конкурируют друг с другом не сами по себе, но с участием порождаемых ими эмоций, т. е. с учетом той или иной перспективы (прогноза) их удовлетворе­ния. Так, например, в ситуации боя потребность само­сохранения и социально детерминированная потребность следовать определенным этическим нормам поведения переживается субъектом как борьба между эмоцией страха и чувством долга, чувством стыда при мысли, что «я могу покинуть доверенный мне пост». За борьбой «чувств» страха и долга скрывается и в ней обнаружи­вается столкновение двух противоположных тенденций, противоположных путей трансформации разных потреб­ностей. Какая из них победит? Та, которая вызовет более сильную эмоцию!

Говоря о зависимости эмоций не только от величины и силы потребности, но и от вероятности ее удовлетво­рения, следует помнить, что вероятность достижения цели в огромной, подчас решающей степени зависит от *действий* самого субъекта, его предынформированности, от того, в какой мере он вооружен соответствующими знаниями и навыками и в какой мере он способен эти навыки реализовать. Иногда человек очень бурно переживает отрицательную эмоцию, порожденную низкой вероятно­стью удовлетворения имеющейся у него потребности, и вместе с тем он ничего не предпринимает для изменения сложившейся ситуации. Такие случаи убеждают, что для трансформации мотива необходим (хотя и не всегда!) некий дополнительный механизм, который принято име­новать волей. По некоторым своим характеристикам во­левые качества субъекта близки к тому параметру, кото­рый В. Д. Небылицын обозначил менее определенным на наш взгляд термином «активность». Сам Небылицын категорию воли не рассматривал и к ней не прибегал.

К специальному рассмотрению воли как своеобразной и парадоксальной потребности мы обратимся в дальней­шем. Здесь стоит лишь отметить ее функцию ограничи­теля силы влияния эмоций. Назначение эмоций — транс­формация потребностей по пути наименьшего сопротив­ления. Эмоции автоматически указывают на все наиболее доступное и на все наименее доступное в данной ситуа­ции применительно ко всем одновременно существующим потребностям субъекта. Поскольку сила эмоции зависит не только от силы каждой из потребностей, но и от воз­можности их удовлетворения, эмоция направляет чело­века к наиболее доступному в данных конкретных усло­виях. Эмоция — традиционный источник соблазнов, вплоть до ведущих к преступлению. Воля, напротив, ориенти­рует человека на труднодоступное, на требующее преодо­ления препятствий. Пока мы не касаемся вопроса о со­циальной ценности эмоций и воли. Ведь, как известно, развитая воля может быть отвратительно злой, а самая непосредственная, «бездумная» эмоция оказывается пре­красной: таковы бесчисленные подвиги самопожертво­вания.

Выше мы упоминали о том, что оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности происходит как вполне осознанно, так и на уровне, не получающем от­ражения в сознании. Иногда эмоция возникает в результате всестороннего и вполне рационального анализа ситуации — вплоть до парадоксальных случаев, когда такой анализ ведет к нежелательным последствиям. Антуан де Сент-Экзюпери пишет о летчике, потерпевшем аварию в горах: «...начиная со второго дня, больше всего уходило сил на то, чтобы не думать... положение было уж очень безнадежным, чтобы иметь мужество идти, надо было поменьше размышлять о своем положении»[[18]](#footnote-19). Однако весьма часто эмоция оказывается как бы непосредствен­ным откликом на изменение обстановки, и работа мозга по анализу этой обстановки ускользает от сознания,— тем более, что такой анализ осуществляется чрезвычайно быстро. Канадский ученый Д. Хебб убедительно показал, что страх — это отнюдь не реакция на угрозу, но эмо­циональная реакция на степень защищенности субъекта от нависшей над ним угрозы. Казалось бы, не все ли равно: опасность, от которой я защищен, перестает быть опасностью. Тем не менее, стремительно развертываю­щаяся (хотя и неосознаваемая) оценка защищенности требует дополнительных операций, включающих и учет совершенства навыков, и время, необходимое для соответ­ствующих действий, и степень усталости субъекта и мно­гое другое. Быстрота подобной оценки объясняется бо­гатством ранее накопленного опыта, высокой автомати­зацией необходимых действий, детали которых давно уже перестали контролироваться сознанием. Вот почему, встретив опасность, мы как бы «сразу» чувствуем страх, поскольку подготовка и оформление этого страха осуще­ствлены мозгом на уровне *подсознания*.

Вместе с тем имеется и другая разновидность эмоций, формирующихся также вне контроля сознания, но суще­ственно отличных от только что описанных. Мы имеем в виду те трудно определимые словами «предчувствия», которые возникают в процессе творческой деятельности и связаны с представлением об интуиции. У человека, за­нятого решением какой-либо трудной задачи, вдруг по­является радостное ощущение близости этого решения или, напротив, отрицательное чувство отдаления, ухода от желанной цели. Ни в первом, ни во втором случае человек не может объяснить, почему у него возникло это эмоционально окрашенное состояние. Тем не менее, оно побуждает субъекта остановиться, прекратить дальней­шие поиски и попытаться сознательно разобраться в том, соответствует или не соответствует эмоциональная оценка ситуации реальному положению вещей.

По-видимому, в данном случае также имело место изменение — возрастание или уменьшение — вероятности достижения цели, следствием чего и явилась эмоциональная реакция, хотя оценка вероятности произошла па не­осознаваемом уровне. Механизм формирования этой эмо­ции существенно отличается от случая с «мгновенной» эмоцией страха. Там оценка угрозы базировалась на врож­денном или приобретенном, но отработанном до автома­тизма опыте, на готовых «образцах» действий с учетом их эффективности, обнаружившейся в прошлом. Что же касается творческой деятельности, то здесь возникший вариант решения (гипотеза, догадка) еще только подле­жит сопоставлению с действительностью с целью про­верки его правильности или ошибочности. В первом слу­чае вмешательство сознания излишне, оно бы только затруднило и замедлило процесс оценки внезапно сло­жившейся обстановки. Во втором случае вмешательство сознания преждевременно: под давлением накопленного опыта оригинальная догадка может быть с ходу отвер­гнута как нелепая, противоречащая всему, что было из­вестно ранее. Вот почему неосознаваемую стадию порож­дения новых гипотез уместнее относить не к подсозна­нию, а к деятельности какого-то иного механизма. Ра­боту этого механизма в сфере художественного творчества великий режиссер и теоретик сценического искусства К. С. Станиславский предпочел назвать сверхсознанием, которое вооружает сознание информацией особого рода. Источником этой информации также служит прошлый опыт субъекта. Но это — следы где-то, когда-то случайно промелькнувших связей, самых отдаленных ассоциаций, не находивших прежде практического или теоретического применения, но вошедших в обиход сознания, не оформ­ленных в понятия, не имеющих названий и, разумеется, практикой не проверенных. Такое вмешательство сверх­сознания часто бывает труднообъяснимо, но весьма впе­чатляюще. Оно сопровождается эмоцией, как правило, ярко положительной. В результате деятельность сверхсознания (интуиция) отождествляется с эмоцией и воз­никает иллюзия творческих функций самих эмоций, хотя на самом деле они — лишь показатель хода решения твор­ческой задачи.

Будучи тесно связаны друг с другом, потребность, эмоции и механизмы прогнозирования вероятности удов­летворения потребностей представляют относительно са­мостоятельные феномены высшей нервной (психической) деятельности. Нейрофизиологические сведения показы­вают, что они имеют свой собственный анатомо-физиологический субстрат, приурочены к различным отделам головного мозга[[19]](#footnote-20). Являясь функцией потребностей и вероят­ности их удовлетворения, эмоции в свою очередь оказывают влияние на силу потребности и механизм про­гнозирования. Эмоция не только трансформирует, но и усиливает потребность. Экспериментально показано, что страх боли усиливает чувство боли, понижает болевой порог. С другой стороны, чувство радости, воодушевле­ния, возможное даже при небольшом успехе, усиливает потребность достижения конечной цели. Слишком низкая или слишком высокая вероятность достижения цели, на­против, оказывает на потребность угнетающее влияние. Очень доступное перестает быть желанным, теряет свою привлекательность. Пессимистический прогноз порождает состояние безнадежности.

Механизм прогнозирования возможности удовлетворе­ния потребности в свою очередь испытывает влияние эмоций и потребности. Отрицательная эмоция делает не­благоприятный прогноз еще более пессимистическим, субъективно удлиняет путь к поставленной цели. Поло­жительная эмоция сокращает этот путь, упрощает его, делает цель более достижимой и нередко способствует переоценке реальных достижений («головокружение от успехов»). Что касается трансформации потребности, то ее усиление заставляет субъекта пренебрегать даже низ­кой вероятностью достижения цели. С другой стороны, сильная потребность склонна преуменьшать возросшую вероятность: при сильной потребности выигрыш кажется не столь уж значительным.

Взаимовлияния механизмов потребностей (мотиваций), эмоций и механизмов прогнозирования достижения цели сказываются на колебаниях того показателя, который психологи назвали «уровнем притязаний». Дело в том, что разные люди по-разному измеряют трудность задачи (в условиях, когда они сами регулируют эту трудность) в зависимости от успеха или неудачи очередной попытки. В самом общем виде можно сказать, что при одной и той же силе потребности человек охотнее стремится к цели, когда задача трудна, но решение ее возможно. Это правило идеально совпадает с получением макси­мума положительных эмоций. Слишком простая задача при хороших знаниях и способностях, равно как и непо­сильная задача, отрицательно влияет на положительное эмоциональное состояние, называемое удовлетворением своей деятельностью. Чрезвычайная сложность феноме­нологии эмоций заключается в том, что потребности, эмо­ции и механизмы прогноза, влияя друг на друга, продол­жают зависеть от этих, изменяемых ими факторов. Все они — потребность, информация, эмоция, воля, действие — переплетающиеся звенья прямых и обратных связей еди­ного в своей сути процесса трансформации потребности во внешне реализуемое поведение.

Эвристическое значение информационной теории эмо­ций применительно к проблеме индивидуальных различий можно сформулировать в следующих основных положе­ниях.

1. Если мы признаем, что в основе *любой* эмоции ле­жит какая-либо актуализированная потребность, то мно­гообразие и богатство человеческих эмоций свидетель­ствует о чрезвычайном многообразии потребностей чело­века, отнюдь не сводимых к пище, одежде, жилищу и продолжению рода. Поскольку именно потребности и про­изводные от них трансформации — мотивы, интересы, убеждения, стремления, влечения, желания, ценностные ориентации и т. п. — представляют основу и движущую силу человеческого поведения, его побуждение и цель, эти потребности следует рассматривать как ядро лично­сти, как самую существенную ее характеристику. Любой анализ индивидуальности окажется частным и второсте­пенным при абстрагировании от сферы потребностей и мотивов, их набора и внутренней иерархии. Характери­стика личности начинается с уяснения и анализа ее потребностей.

2. Если эмоции играют столь существенную роль в трансформации потребностей, в организации их взаимо­действия, их конкуренции и соподчинения, то важной характеристикой индивидуальных различий окажутся индивидуальные особенности взаимодействия потребно­стей с механизмами оценки вероятности их удовлетворе­ния. Ниже мы приведем фактические аргументы, свиде­тельствующие о том, что параметры индивидуальности, получившие отражение в представлениях о темпераменте, теснее всего связаны с системой координат «потребно­сти — вероятность их удовлетворения».

3. Выше мы уже упомянули о том, что, помимо эмо­ций в конкуренции потребностей (мотивов поведения), в процессах трансформации этих потребностей в дейст­вие, в поступок активно участвует механизм, который принято называть волей. Индивидуальные особенности волевых качеств субъекта лежат в основе характера, проявляющегося во внешне реализуемой деятельности. Однако прежде, чем говорить о волевых параметрах лич­ности, необходимо уточнить, что именно подразумевается под представлением о воле, какова природа этого свое­образного феномена высшей нервной деятельности.

4. Если эмоциям принадлежит столь ответственная роль в формировании конкретного набора в иерархии потребностей (мотивов), а эмоции в свою очередь зави­сят от вероятности удовлетворения этих потребностей, то открывается возможность целенаправленного воздействия на сферу потребностей и их трансформаций посредством эмоций. С этой целью мы должны вооружать субъекта средствами и способами удовлетворения тех его потребно­стей, которые представляют наибольшую ценность как для формирования его личности, так и для прогрессив­ного развития общества в целом.

Эта задача чрезвычайно усложняется тем, что потреб­ности нельзя ни уничтожить, ни насадить: среди них нет «лишних», плохих или вредных. Вредны бывают только определенные трансформации потребностей, и, пожалуй, любая из них может трансформироваться в социально нежелательную. Если в процессе конкуренции мотивов удовлетворение одной потребности будет происходить за счет другой, то неудовлетворенная породит отрицательные эмоции и поиск средств их устранения (сюда, в частно­сти, следует отнести наркоманию). Поэтому забота о фор­мировании гармонической личности требует заботы о во­оружении всех естественных потребностей человека, чтобы эти потребности не нарушали цельность личности уродливыми трансформациями отдельных ее сторон.

Рост вооруженности субъекта обеспечивается различ­ными путями. Во-первых, это — его обучение, практиче­ское (а не умозрительное!) овладение опытом, накоплен­ным предшествующими поколениями, усвоение норм (в широком смысле) современной субъекту культуры. Во-вторых, это — поощрение, развитие и культивирование собственного творчества как порождения новой, не су­ществовавшей ранее информации о средствах и способах удовлетворения потребностей. Благодаря творческой дея­тельности субъекта происходит развитие самих норм, про­цесс «возвышения потребностей», их расширения и обогащения.

Поощрение творчества есть в сущности развитие сверх­сознания, работу которого облегчает обогащенное опытом подсознание. К сверх- и подсознанию мы еще вернемся для более обстоятельного их рассмотрения, но сейчас уже следует отметить, что от потребности в вооружении за­висят трансформации и удовлетворение всех других че­ловеческих потребностей. Наиболее ярко она проявляется в детском возрасте, причем не только у людей, но и у высших животных, и поэтому ее часто упускают из виду, равно как и разнообразие ее трансформаций.

Таковы основные принципы нашего подхода к проб­леме индивидуальности. Теоретически определив пара­метры индивидуальных различий, мы можем теперь перейти к их детальному и систематическому рассмотре­нию.

# МОТИВАЦИОННОЕ ЯДРО ЛИЧНОСТИ

*Каждый стоит столько, сколько*

 *стоит то, о чем он хлопочет.*

Марк Аврелий

Признавая ключевую роль потребностей в поведении человека, мы не располагаем их обоснованной классифи­кацией, традиционно ограничиваясь делением потребно­стей на материальные и духовные, на естественные (био­логические) и культурные (исторические). Для попыток дать их подробное и детальное перечисление характерны произвольность и отсутствие четко сформулированного принципа. Стоит ли удивляться, что каждый автор назы­вает свое число потребностей: у Маслоу их 15, у Мак-Дауголла — 18, у Меррей и Пьерона — 20.

По-видимому, перечисление и классификация *всех* по­требностей человека — дело совершенно бесплодное, по­тому что исходные (первичные) потребности трансфор­мируются в бесконечное множество производных. Психо­лог Курт Левин назвал их квазипотребностями. Например, биологическая потребность сохранения определенной тем­пературы тела порождает потребность в одежде; та в свою очередь формирует потребность в производстве материа­лов для изготовления этой одежды, в создании соответ­ствующей технологии, в организации производства и т. д., и т. п. Значит, мы должны ограничиться только теми по­требностями, которые не выводимы друг из друга и не заменяют друг друга в том смысле, что любая степень удовлетворенности одной группы потребностей не озна­чает автоматического удовлетворения других. Объяснение подобной незаменимости мы усматриваем в представлениях В. И. Вернадского об освоении живым окружающего мира, которое включает в себя: 1) физическое заселение путем роста и размножения (место в геосфере); 2) необ­ходимость занимать определенную позицию среди других живых существ своего и чужих видов (место в биосфере, которое на уровне человека становится местом в социо-сфере); 3) интеллектуальное освоение мира путем при­своения уже имеющихся культурных ценностей и позна­ния неизвестного предшествующим поколениям (место в ноосфере). Соответственно потребности человека можно разделить на три главные исходные группы — на биоло­гические, социальные и идеальные.

*Биологические* (витальные) потребности призваны обеспечить индивидуальное и видовое существование че­ловека, принадлежащего живой природе на высшей ста­дии ее развития. Они порождают множество материаль­ных квазипотребностей в пище, одежде, жилище, в тех­нике, необходимой для производства материальных благ, в средствах защиты от вредных воздействий и т. д.

К числу биологических относятся и потребность эко­номии сил, побуждающая человека искать наиболее ко­роткий, легкий и простой путь к достижению своих целей. Потребность в экономии сил близка потребности в воору­жении (которую нам предстоит рассмотреть специально), но это две разные потребности, хотя на уровне человека они постоянно дополняют, поддерживают и даже питают одна другую.

Принцип экономии сил лежит в основе изобретатель­ства и совершенствования навыков, но может приобрести и самодовлеющее значение, трансформировавшись в лень. Экономия сил обнаруживается уже у животных: если им предложить два рычага для добывания одной и той же порции пищи, животное предпочтет рычаг, нажим па который требует меньших усилий. Более того, разные животные одного и того же вида (крысы, обезьяны) обла­дают индивидуально различной склонностью к манипу­лированию рычагом. Одни из них производят большое число нажатий, в то время как другие предпочитают под­бирать пищу, добытую «манипуляторами». Только после удаления всех «манипуляторов» из экспериментальной клетки «потребители» начинают работать с рычагом. Если же оставить в клетке одних «манипуляторов», не­которые из них вскоре становятся «потребителями». В случае прекращения подачи пищи «потребители» очень быстро перестают надавливать на рычаг, а «манипуля­торы» продолжают пользоваться рычагом сравнительно длительное время, несмотря на отсутствие подкрепления.

*Социальные* потребности мы выделяем в особую группу, памятуя, что социально детерминированы и все другие побуждения человека. Однако в данном случае речь идет о социальных потребностях в узком и собствен­ном смысле слова. Это потребность принадлежать к со­циальной группе и занимать в ней определенное место, пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, быть объектом их уважения и любви. Попытки свести все многообразие социальных потребностей к «жажде власти» безнадежно устарели. Потребность лидерства — лишь одна из многочисленных разновидностей этой группы мотива­ций, причем потребность быть «ведомым» нередко пере­крывает по силе и остроте желание быть лидером.

«Занимать место» в социальной среде — это выраже­ние, в сущности, образно-метафорическое. Содержание социальных потребностей состоит в принадлежности к человеческому обществу, а она требует какого-то ре­ального проявления. Сюда и входит, в частности, уваже­ние, привязанность, любовь окружающих, как знаки признания этой принадлежности. Сама же она заключается в связях человека с окружающими людьми взаимными правами и обязанностями. Человеку исходно необходимы эти взаимосвязи с обществом себе подобных, права и обязанности по отношению друг к другу. Двойственность этих сложных взаимосвязей выступает, ощущается, оце­нивается и функционирует как потребность в справед­ливости. Она — сущность и основа исходных социальных потребностей человека. «Место в обществе, место в умах других», уважение, любовь и т. д., и т. п. — все это включает в себя представление о справедливости, о том, что должно принадлежать субъекту как должное и при­знаваемое другими. «Коммунальные страсти часто назы­вают мещанскими. Ерунда! Какие же они мещанские? Пусть порожденные малыми причинами, но сами страсти — высокие, благородные, можно даже сказать: аристо­кратические. Каждый борется не за себя, а за высокую справедливость... В нашей квартире все были за спра­ведливость, но каждый понимал ее по-своему. И каждый по-своему был прав. Одно из самых тяжелых убеждений, вынесенных мною из жизни: каждый человек внутри себя прав»[[20]](#footnote-21).

Вероятно, нет двух людей, у которых представления о справедливости по отношению к себе были бы тожде­ственны. Но человеческое общество распалось бы, если бы члены его не находили общности в своих представлениях о справедливости, несмотря на их разнообразие. Эта общность есть. Она проявляется прежде всего в са­мом признании наличия прав и обязанностей в челове­ческих взаимоотношениях. Далее неизбежно возникает общность в представлениях о содержании того и дру­гого, хотя тут же обнаруживается и все разнообразие оттенков.

Наиболее значительные расхождения сводятся к соот­ношению между правами и обязанностями. В их основе лежит взаимодействие двух разновидностей социальных потребностей. Одна ветвь ведет к трансформациям со­циальных потребностей, настаивающих па своих правах, другая — на выполнении своих обязанностей. Первую разновидность мы условно называем социальными потреб­ностями «для себя», вторую — социальными потребно­стями «для других». Обе присущи всем людям, но одни из них считают, что в поисках справедливости недостает соблюдения «моих» прав. Другие видят упущение в вы­полнении «своих» обязанностей. В обоих случаях имеется в виду социальное окружение, более или менее обшир­ное — от соседей по квартире до человечества в целом. Во взаимодействии с этим окружением я либо выполняю свои обязанности, либо настаиваю на своих правах, что зависит от силы моих потребностей «для других» и «для себя». Силы той и другой потребности контролируются общественно-историческими нормами их удовлетворения. К общественно-историческим нормам нам придется воз­вращаться еще не раз, поскольку они касаются удовле­творения всех человеческих потребностей, каждого от­дельного человека и человечества в целом.

Теперь понятно, почему среди социальных потребно­стей мы хотим особо выделить потребность следовать нормам, принятым в данном обществе. Это очень важная мотивация, поскольку без соблюдения норм существова­ние социальных систем оказалось бы вообще невозмож­ным. Нормы формируются в результате сложнейшего взаимодействия исторических, экономических, националь­ных и других факторов, они получают отражение в об­щественном сознании и закрепляются господствующей идеологией. Но соблюдение этих норм базируется на присущей членам сообщества социальной потребности следовать поведенческим, нравственным, эстетическим и тому подобным эталонам.

Можно ли считать социальные потребности первич­ными (исходными) или они представляют квазипотребности, производные от материально-биологических? Мы полагаем, что можно минимум по двум причинам.

Во-первых, они имеют самостоятельную предысторию на дочеловеческих этапах эволюции. Например, у обезьян подход к пище и контакты с самками строго регламен­тируются положением данного самца в стадной иерархии. Один из эффективнейших способов получения экспери­ментального невроза с симптомами гипертонии и предын­фарктного состояния заключается в том, что «лидера» группы начинают кормить в последнюю очередь, а к его самке подсаживают другого, «подчиненного» самца. Об­ратите внимание, что дело заключается не в лишении пищи и не в сексуальном голодании: самец-«лидер» по­лучает любое количество самого вкусного корма и может общаться с самками. Нарушен только его зоосоциальный статус, и этого оказывается достаточно для катастрофи­ческого нервного срыва. Знаменитое «любовь и голод правят миром» оказывается несправедливым даже по от­ношению к животным.

Попытка найти в головном мозге «центры» стадного поведения, приурочив их к определенным структурам (например, к древней коре и передним отделам новой коры, как это сделал американский нейрофизиолог П. Мак-Лин), вряд ли правомерны. Вместе с тем в мозге имеются образования, повреждение которых сказывается особенно сильно на зоосоциальном поведении. К их числу относятся лобные и теменные области новой коры, миндалина, перегородка и латеральный гипоталамус. По-ви­димому, нервные элементы этих отделов мозга, объеди­няясь под влиянием генетических и средовых факторов в сложные «функциональные органы», как их назвал А. А. Ухтомский, и образуют нейрофизиологическую ос­нову группового поведения. Прижизненному индивиду­альному опыту здесь принадлежит особо важная роль. Например, эксперименты показывают, что формирование «лидера» обусловлено не столько его исходными задат­ками, сколько подчиненным поведением других членов группы.

Обезьяны способны инструментализировать конкурен­цию за место в групповой иерархии. В специальной ли­тературе описан случай, когда молодой шимпанзе стал «лидером», запугивая других членов стада ударами палки по пустой канистре из-под бензина. Как только экспери­ментаторы отняли у него канистру, в группе восстано­вились прежние отношения, и бывший «лидер» оказался на сравнительно низкой ступени зоосоциального соподчи­нения. В свете последних данных науки о групповом поведении животных можно предположить, что в про­цессе антропогенеза элементы истинной социализации, связанные с изобретением орудий труда, с присвоением его продуктов, наложились на достаточно сложную струк­туру стадной организации. По мнению Ф. Энгельса, «об­щественный инстинкт был одним из важнейших рычагов развития человека из обезьяны»[[21]](#footnote-22).

Вторым свидетельством самостоятельного происхожде­ния социальных потребностей служит развитие ребенка. Тщательные наблюдения показали, что актуализируемая в процессе общения потребность, обусловливающая при­вязанность и боязнь одиночества, не является производ­ной ни от потребности в пище, ни от ранней сексуаль­ности, как предполагал 3. Фрейд. Более того, если функции удовлетворения биологических потребностей (кормление, уход, смена пеленок и т. д.). и общение в виде улыбок, «разговора», игры с ребенком разделить между двумя лицами, ребенок больше привязывается к тому человеку, который вступает с ним в контакт. В то же время он остается равнодушным к взрослому, бесстрастно удовлетворяющему его первейшие жизненные нужды.

Незаменимость удовлетворения социальных потребно­стей красочно описал Паскаль: «Чем бы человек ни обла­дал на земле — прекрасным здоровьем, любыми благами жизни, он все-таки недоволен, если не пользуется почетом у людей... Имея все возможные преимущества, он не чувствует себя удовлетворенным, если не занимает вы­годного места в умах... Ничто не может отвлечь его от этой цели… Даже презирающие род людской, третирую­щие людей, как скотов, и те хотят, чтобы люди покло­нялись и верили им…».

Третью и последнюю группу исходных потребностей составляют *идеальные потребности познания* в самом ши­роком смысле: познания окружающего мира в целом, в его отдельных частностях и своего места в нем, позна­ния смысла и назначения своего существования на земле.

Без твердого представления, для чего ему жить, писал Ф. М. Достоевский, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом сто все были хлебы (т. е. материальные блага). Так называемая эстетическая потребность, побуждающая лю­дей создавать произведения искусства и обращаться к ним, безусловно, относится к данной группе.

И снова мы должны подчеркнуть, что потребность познания не является производной от биологических и социальных, хотя, разумеется, вторично связана с ними самым тесным образом. Потребность познания ведет свое происхождение от универсальной потребности в информа­ции, изпачально присущей всему живому, наряду с по­требностью в притоке вещества и энергии. Удовлетворе­ние любой потребности требует ипформации о путях и способах достижения цели. Вместе с тем существует потребность в информации как стремление к новому, ранее неизвестному, безотносительно к его прагматиче­скому значению в смысле удовлетворения каких-либо биологических и социальных нужд. Филогенетические предпосылки этой потребности обнаруживаются уже у животных.

Вот один из многочисленных экспериментов, подтверждающих справедливость нашего вывода. В левый рукав лабиринта помещают пищу или воду. В правом нет ничего кроме постоянно изменяющихся освещения, цвета пола, раскраски стен, рычагов и кнопок, нажим на кото­рые никогда не ведет к появлению пищи и воды. Ока­залось, что новизна служит не менее привлекательным стимулом, чем пища. Только очень голодное или жажду­щее животное начинает явно предпочитать рукав с кор­мушкой и поилкой рукаву с «новизной». Опыты с выра­щиванием животных в «обедненной» (изоляция, неизмен­ная обстановка) и в «обогащенной» (другие особи, пред­меты для исследования и игры) средах показали, что вес мозга, его строение и химизм существенно различны у этих двух групп животных. Эти эффекты не связаны ни с питанием, ни с двигательной активностью, а зависят исключительно от информационных характеристик внешней среды. В самое последнее время появились данные, в известной мере объясняющие внутренний механизм привлекательности новизны. Было установлено, что но­визна повышает содержание в мозгу эндогенных эндорфинов — вырабатываемых мозгом веществ, похожих по своему строению и действию на морфий. Иными словами, удовольствие от новизны имеет свою химическую основу.

Впрочем, новое и непонятное привлекательно лишь в определенных пределах. Слишком новое пугает, а чрез­мерная неопределенность становится тягостной. Таким об­разом, потребность в информации — это стремление животного не только познакомиться с новым, но и «упоря­дочить» среду, устранить присущую ей неопределенность.

На уровне человека ориентировочно-исследовательское поведение приобретает качественно новый характер по­знания окружающей действительности, уяснения правил и закономерностей, которым подчинен окружающий мир. Его загадочность так трудно переносится человеком, что он готов навязать миру мифическое, фантастическое объяснение, лишь бы избавиться от бремени непонима­ния, даже если это непонимание не грозит человеку какими-либо конкретными бедами: голодом, лишениями, опасностью для жизни. Постигая закономерности окру­жающего, человек кладет эти законы в основу создавае­мых им моделей мира, будь то научные теории или про­изведения искусства. Художник не только обнаруживает в мире гармонию и открывает ее людям, писал А. Блок, он сам вносит гармонию в мир.

Выделенные нами три группы потребностей иници­ируют соответствующие виды деятельности, среди которых различаются материальная (производственная) деятель­ность, социально-политическая и духовная[[22]](#footnote-23).

Биологические, социальные и идеальные (познаватель­ные) потребности в свою очередь делятся на две разно­видности: на потребности *сохранения и развития*. А. Маслоу и Г. Олпорт называют их потребностями «нужды» и «роста». Эти две разновидности потребностей репрезен­тируют на уровне индивидуального поведения диалекти­чески противоречивый характер процесса самодвижения живой природы, где развиваться, усложняться и совер­шенствоваться может лишь то, что способно себя сохра­нить. Вместе с тем процесс самодвижения не сводится к одной лишь «борьбе за выживание», к уравновешива­нию с окружающей средой, но предполагает освоение этой среды во все расширяющихся пространственно-вре­менных масштабах. Освоение новых сред, все более от­даляющихся от первоначальной среды, в которой обитали предки, в сущности, является одним из главных крите­риев прогресса биологической эволюции.

Тенденции сохранения и развития можно обнаружить во всех трех основных группах потребностей человека, но в каждой из групп они обладают своими особенно­стями. Общее основание для их различения — это отно­шение к господствующей общественно-исторической норме удовлетворения. Потребности сохранения удовле­творяются в пределах норм; потребности развития превы­шают норму. Чем больше такое притязание на превыше­ние существующих норм, тем ярче потребность развития. В идеальных потребностях норма — это достигнутое к на­стоящему времени знание, поэтому, казалось бы, все идеальные потребности суть потребности развития. В дей­ствительности все оказывается сложнее. Ученый едва ли заслуживает своего названия, если его потребность по­знавать ограничена какой бы то ни было существующей нормой. Мир безграничен, и познание его безгранично. В идеальных потребностях нормы — лишь ступеньки бес­конечной лестницы.

В группе социальных потребностей картина не менее сложна. Здесь норм столько, сколько существует хотя бы относительно устойчивых структур общественных отно­шений. Чаще всего субъект стремится улучшить свое общественное положение, в чем проявляется потребность развитии «для себя». Потребность развития «для других» требует совершенствования самих норм либо улучшения положения какой-либо социальной группы. Социальная потребность сохранения, как правило, свидетельствует о том, что она занимает подчиненное положение в иерар­хии потребностей данного субъекта, что она чрезвычайно скромна. Впрочем, социальная потребность сохранения бывает характерна и для тех лиц, которые уже занимают достаточно высокое общественное положение и не распо­ложены его менять.

Основные нормы удовлетворения биологических по­требностей хорошо известны современной медицине. Их превышение чаще всего ведет к патологии. Но к биологическим потребностям относится и продолжение рода — размножение и забота о потомстве. Здесь потребность развития проявляется иногда с чрезвычайной силой, со стремлением опрокинуть все существующие нормы. Такова потребность в сохранении, благополучии, развитии и процветании своих близких исключительно вследствие кровного родства. Эта потребность похожа на социальную потребность «для других», но ее природа иная. Социаль­ная потребность «для других» есть потребность в справедливости к другим, она в каждом случае нуждается в ра­зумных логических обоснованиях, сознательной аргумен­тации. Биологическая потребность «для других», как и остальные биологические потребности, ни в обосновании, ни в логике, ни в сознании не нуждается. Родственная связь — вот ее единственное, достаточное и категориче­ское обоснование. Попытки логических обоснований род­ственных привязанностей демонстрируют, в сущности, их отсутствие. Социальная биологическая потребность раз­вития «для других» выступает поэтому как семейный эгоизм, в отличие от социальной потребности «для дру­гих», которая проявляется в качестве альтруизма.

Именно двойственность потребностей сохранения и развития породила две основные формы эмоций — отри­цательные и положительные. Механизм сохранения не нуждается в положительных эмоциях, он может работать за счет одних отрицательных, где само устранение тягост­ного состояния, например голода, путем удовлетворения соответствующей потребности есть награда для действую­щего субъекта. Удовольствие, получаемое от пищи, с не­обходимостью требует ее разнообразия, поиска новых питательных веществ, их новых комбинаций и способов приготовления. Иными словами, даже на элементарном уровне пищевой потребности положительные эмоции иг­рают творчески-поисковую роль, содействуют освоению новых сфер окружающей действительности. Не случайно значение положительных эмоций возрастает по мере пере­хода ко все более сложным формам мотиваций.

Особая «приращенность» положительных эмоций к по­требностям развития давно отмечена народной наблюда­тельностью в известной поговорке о том, что «охота пуще неволи», т. е. что стремление к награде сильнее стрем­ления избежать наказания. Эксперименты на животных и наблюдения за детьми показали, что наказание за со­вершение какого-либо действия не исключает возможности его повторного воспроизведения в будущем. Для надежного предотвращения нежелательных действий необхо­димо, чтобы эти действия утратили свою привлекатель­ность для субъекта, перестали вызывать у него поло­жительные эмоции.

Близость положительных эмоций к потребностям развития объясняется тем, что для их повторного пере­живания субъект вынужден активно нарушать достигну­тое равновесие, искать неудовлетворенную потребность и от полноты информированности идти в неизвестность, где вновь достигнутое может превысить ранее существо­вавший прогноз.

Поскольку положительные эмоции отражают влече­ния человека к тому, чего он еще не достиг, но к чему стремится, они ярче и полнее отрицательных выражают индивидуальность человека — своеобразие его личных ка­честв, его, если можно так выразиться, «позитивную программу». Одним из ее внешних проявлений служит смех, на природе которого мы специально остановимся позднее.

Преимущественная (не абсолютная) связь потребно­стей развития с положительными эмоциями, а потребно­стей сохранения — с отрицательными не исключает вто­ричного распространения этих эмоций на соседние группы мотивов. Но и в этом случае качество потребно­сти накладывает свой отпечаток на характер эмоцио­нального состояния. Отрицательная эмоция, возникающая при угрозе неудовлетворения потребностей сохранения, переживается как тревога, а неудовлетворенность по­требностей развития порождает так называемую фру­страцию. Оба состояния отрицательны, тягостны для субъекта, от обоих он стремится избавиться, но это — равные состояния. В нервом случае субъект испытывает ощущение нависшей угрозы, боязнь наказания, во вто­ром — раздражение и тоску, порожденные отсутствием удач.

Нам важно подчеркнуть, что выраженность и соотно­шение потребностей сохранения или развития индивиду­ально варьируют у разных людей. Экспериментальные исследования «уровня притязаний», о котором мы гово­рили выше, позволили выявить две категории людей: тех, кто преимущественно стремится к успеху, рискуя утратить достигнутое им раньше, и тех, кто главным образом страшится неудач.

Идеальная потребность не имеет вариантов «для себя» и «для других». Она удовлетворяется познанием истины, которая по определению одна. Потребность познания удовлетворяют наука и искусство, и их происхождение из общего источника представляется единственным, что их связывает, объединяет, уподобляет друг другу. Про­явления бескорыстной любознательности, лежащей в ос­нове науки, бесчисленны и разнообразны, их можно ви­деть в поведении любого человека от раннего дошколь­ного возраста до глубокой старости. Но тяготение человека к искусству также сопровождает его всю жизнь.

Различие сфер науки и искусства яснее всего обнаруживается в истории того и другого. Сфера науки — на­копление знаний, поэтому не существует науки «вообще», а существуют конкретные науки (математика, физика, биология) и их число в наше время стремительно мно­жится. Наука определенно тяготеет к количественному анализу познаваемых явлений, что отличает ее от прин­ципиальной «неизмеряемости» искусства, воссоздающего качественную картину целостного в своем единстве мира.

Нам представляется, что родственность науки и ис­кусства, равно как и различия между ними, хорошо выражается сходством и различием смысла русских слов «истина» и «правда». К истине можно лишь постепенно приближаться и невозможно вполне овладеть ею. Правда непосредственно видима, слышима, но непереводима на язык понятий. Она нужна как свидетельство существо­вания истины, ускользающей от теоретического анализа, как воплощение единства всех явлений мироздания, его стройности. Диалектика объекта и субъекта в познании действительности членит потребность познания на две ветви с акцентом па «истине» или па «правде».

Двойственная природа человека как индивидуума и члена социальной группы (сообщества) лежит в основе деления биологических и социальных потребностей на мотивы «для себя» и «для других». Филогенетическими предпосылками потребности «для других», по-видимому, являются родительский инстинкт, групповая забота о мо­лодняке и способность к так называемому эмоциональ­ному резонансу, т. е. способность реагировать па сигналы эмоционального состояния другого живого существа. Зна­менательно, что забота о потомстве коррелирует с уров­нем зоосоциальной организации данного вида. Так, гиеновые собаки более социализированны, чем гиены, — их группы более постоянны, они легче объединяются при добывании пищи и защите территории. У гиеновых собак молодняк кормят все члены группы, у гиен — только мать. В результате у гиеновых собак выживает 35% молодняка, а у гиен — 5—10%. Иными словами, развитие «альтруизма» (потребности «для других») явилось важ­ным фактором биологической эволюции.

Вместе с тем эта потребность индивидуально варьи­рует у представителей одного и того же вида. В опытах с обезьянами один рычаг подавал пищу только нажи­мавшей на него особи, второй рычаг одновременно снаб­жал пищей двух животных. Все исследованные обезьяны разделились на три группы. Представители первой пред­почитали кормить и себя, и партнера. Представители второй — только себя. Поведение обезьян третьей группы зависело от размеров «личного вознаграждения»: они кор­мили партнера в том случае, если рычаг «для двоих» подавал работающей особи больше пищи, чем рычаг «для одного». Таким образом, даже на уровне животных необ­ходимо различать истинный «альтруизм» от «лично вы­годного альтруизма».

Столь же индивидуально вариабельна способность жи­вотных избегать действий, причиняющих боль другой особи того же вида. Систематические эксперименты на крысах, собаках и обезьянах показали, что такой способ­ностью обладает примерно треть исследованных живот­ных. Около 50% начинают избегать болевого раздражения другой особи после того, как сами подвергнутся болевому воздействию. Приблизительно 20% остаются нечувстви­тельными к сигналам боли (крик, движения, выделение специфических пахучих веществ и т. д.), даже испытав па себе действие болевого раздражителя.

Среди мозговых образований, сохранность которых особенно важна для «эмоционального резонанса», укажем на центральное серое вещество. После повреждения этого
отдела мозга все крысы, ранее хорошо реагировавшие на крик боли партнера, резко ухудшили реакцию избегания. По данным ряда исследователей, центральное серое вещество связало с проведением болевой афферентации и с интеграцией реакций на эмоционально отрицательные (аверсивные) стимулы: звуки, запахи и т. д. Можно предположить, что в процессе эволюции естественный отбор «использовал» дли реагирования на сигналы отрицательно-эмоционального состояния другой особи те же мозговые механизмы, которые связаны с восприятием аверсивных, в том числе болевых, стимулов, адресованных самому субъекту. Эти данные, полученные в опытах на животных, помогают понять механизм того явления, когда человек, став свидетелем страданий другого, испытывает почти физическое недомогание: сжатие в области сердца, «комок в горле», тошноту и тому подобные соматические симптомы.

Чувствительность к состоянию другого индивидуально варьирует и у человека. М. Н. Валуева и И. П. Грызлова регистрировали изменения слуховых порогов и частоты сердцебиений в двух сериях экспериментов, причем в од­ном случае пропуск звукового сигнала сопровождался неприятным электрокожным раздражением запястья руки наблюдателя, а в другом случае — раздражением его партнера по опыту. В опытах участвовали 47 человек. Если судить о степени эмоционального напряжения по частоте сердечных сокращений, то примерно две трети обследованных лиц обнаружили большую степень тревоги в ситуации, когда «наказание» угрожало им самим.

Даже в этих сравнительно элементарных ситуациях выступила чрезвычайная сложность зависимости финальных физиологических сдвигов (изменения порогов вос­приятия звуковых сигналов, частоты сердцебиений) от всей совокупности личностных факторов, определяющих реакцию субъекта. Так, сравнение результатов измере­ния порогов с анализом обследованных лиц по вопрос­нику Р. Б. Кетела показало, что субъекты, наиболее вос­приимчивые к ситуации наказания партнера за допу­щенные ими ошибки, а) хорошо контролируют свое поведение, б) адекватно ориентируются в среде, в) забо­тятся о своей репутации, г) неукоснительно выполняют социальные требования, д) обнаруживают высокую сте­пень тревожности и предрасположенности к социально детерминированной фрустрации[[23]](#footnote-24).

Исходя из этих данных, мы склонны дать свою трак­товку опытам Э. А. Костандова, где пороги опознания эмоционально значимых слов у лиц, совершивших проти­воправные действия, оказались в двух третях случаев выше, а в трети случае ниже, чем пороги опознания словесных эмоционально нейтральных стимулов[[24]](#footnote-25). Мы предполагаем, что решающее значение для смещения по­рога в ту или иную сторону имел характер мотивации, на базе которой возникло эмоциональное напряжение. Преобладание мотивов «для себя», боязни разоблачения и наказания включало механизмы «психологической за­щиты» с характерным для них повышением порогов вос­приятия. Если же у субъекта доминировали мотивы тре­воги «за других» людей, чувства раскаяния и вины, это сопровождалось обострением чувствительности и пониже­нием порогов. Нередкое сосуществование мотивов первого и второго типов делает вполне возможным колебание порогов в обе стороны у одного и того же субъекта на протяжении одного и того же опыта. Мы полагаем, что в получивших широкую известность опытах С. Милгрэма две трети студентов продолжали усиливать раздражение током партнера несмотря на имитацию этими партнерами «криков боли» не в силу какой-то особой склонности к жестокости, а вследствие характера инструкции, где подчеркивались добровольность опытов, их важность для науки и т. п.[[25]](#footnote-26) И все же знакомое нам распределение 1 : 2 заслуживает, чтобы его отметить.

Противопоставление «эгоизма» «альтруизму» требует большой осторожности. Дело в том, что на протяжении миллионов лет эволюции сосуществование этих двух тен­денций было совершенно необходимым. Само выживание вида в некоторых экстремальных ситуациях (голод, сти­хийные бедствия и т. п.) оказывалось подчас возможным только потому, что особи-«эгоисты» сохранялись и да­вали жизнь следующим поколениям за счет гибели опре­деленной части популяции. «Альтруизм, так же как и его альтернатива — эгоизм и антиальтруизм, в разных усло­виях жизни нравственно неразвитого общества имели раз­ную адаптивную ценность, но поскольку условия жизни постоянно менялись, то они оказались вовлеченными в сферу группового отбора, а лежащие в их основе ген­ные системы оказались включенными в генофонд чело­века»[[26]](#footnote-27).

Абстрактный альтруизм способен обернуться своей диалектической противоположностью. «Жертвенность, тем более затяжная, редко бывает бескорыстной. Она одари­вает, но за это обязательно когда-нибудь потребует бла­годарности… почему это никто не замечает, почему не воздают должное?»[[27]](#footnote-28) «Если человек может любить только других, он вообще неспособен любить»[[28]](#footnote-29). Совокупность исторических классовых макро- и микросоциальных фак­торов формирует исторически изменчивую норму удов­летворения потребности «для других», которая усваива­ется индивидуальным человеком как присущая лично ему совесть. По своему происхождению совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом, утверждал Л. Н. Толстой. «Как принадлежащий к этой общине, как член этого племени, этого народа, этой эпохи, я не обладаю в своей совести никаким особенным и уголовным уставом… Я упрекаю себя только в том, в чем упрекает меня другой»[[29]](#footnote-30). Однако, будучи усвоена субъектом, со­циальная по своему происхождению норма обретает но­вое качество, становясь внутренним регулятором поведе­ния. «Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно» (*А. С. Пушкин*). «Когда никто не увидит и никто не узнает, а я все-таки не сделаю, — вот что такое совесть!» (*В. Г. Короленко*). На базе по­требности «для других» в зависимости от ее удовлетво­рения или неудовлетворения возникают отрицательные эмоции «угрызения совести» или положительно окрашен­ное чувство удовлетворения своим поступком «по сове­сти». «Две вещи наполняют душу все новым и нарастаю­щим удивлением и благоговением, тем чаще, чем про­должительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне» (*И. Кант*). Хо­рошо упроченным нормам свойственно уходить в подсо­знание— приобретать черты автоматизма и функциони­ровать без размышлений и доказательств, как нечто само собой разумеющееся. Самые высокие представления иде­ального порядка обнаруживают себя в поступке, во взаи­модействии людей чуть ли не рефлекторно, когда их зна­чение и источник едва осознаются.

Каждый человек наделен всеми тремя группами ос­новных потребностей — биологическими, социальными и идеальными — в их разнообразнейших комбинациях, при­чем для подавляющего большинства характерно преобла­дание социальных. Явное преобладание биологических потребностей граничит с патологией. Даже в экстремаль­ных ситуациях люди, как правило, сохраняют над ними социальный контроль. Абсолютное доминирование идеаль­ных потребностей при полном игнорировании биологиче­ских и социальных встречается исключительно редко. Поэтому говорить о том, что одни из них «лучше», а дру­гие «хуже», по меньшей мере, ненаучно. Общество оце­нивает набор и иерархию потребностей, присущих каждой отдельной личности, соотнося их с *нормами удовлетворе­ния* этих потребностей, сложившимися в данной социаль­ной среде. «Размер так называемых необходимых потреб­ностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представляют собой продукт истории»[[30]](#footnote-31). Конкретное общество (класс, социальная группа) нормирует и соотно­шение потребностей друг с другом, размеры удовлетво­рения каждой из них в зависимости от размеров удовлет­ворения всех остальных.

Вместе с тем многообразие и изменчивость норм не означают их равноценности перед историей, потому что на каждом ее этапе наибольшую объективную ценность представляют такие нормы и способы удовлетворения по­требностей, которые в наибольшей степени содействуют развитию общества в целом, а следовательно, смене норм и развитию составляющих это общество личностей. Вот почему в устных и литературных памятниках почти всех эпох человечество отдавало предпочтение тем из своих сынов, у которых потребности «для других» и тенденции развития, по крайней мере, не уступали потребностям «для себя» и мотивациям самосохранения. Количество такого типа личностей в популяции — величина крайне изменчивая, она колеблется в зависимости от множества условий, но в любом случае па протяжении веков такие личности привлекают симпатии если не современников, то потомков.

Различные потребности характеризуются разным диапазоном удаленности целей, т. е. предельными сроками их удовлетворения. Патологические потребности не могут быть отложены на сколько-нибудь продолжительное время. Удовлетворение социальных потребностей ограничено сроками человеческой жизни. Достижение идеальных целей может быть отнесено и к отдаленному будущему. И всю жизнь работал над тем, говорил Э. К. Циолковский, что не давало мне ни хлеба, ни силы, потому что был уверен, что в будущем мои работы принесут людям горы хлеба и бездну могущества. Шкала удаленности целей («личных перспектив» — по А. С. Макаренко) получила отражение в обыденном сознании как «размеры души», которая может быть и большой, и мелкой. Мы называем человека *мало*душным, если он отказывается от достижения удаленной цели в пользу ближайшей, продиктованной, как правило, потребностями сохранения своего личного благополучия, социального статуса, общепринятой нормы. *Велико*душен тот, кто, напротив, отклоняет легко достижимую цель (скажем, месть обидчику) ради удовлетворения более высокой потребности, например восстановить у обидчика веру в людей, вызвать у него сожаление о совершенном поступке.

Самый лучший человек тот, говорил Л. Н. Тол­стой, кто живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека — кото­рый живет чужими мыслями и своими чувствами... Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов дея­тельности — все различие людей[[31]](#footnote-32).

Если перевести эту классификацию на язык потреб­ностей, то лучшим вариантом окажется социальная по­требность «для других» в сочетании с потребностью познания, свободной от побочных влияний и не доволь­ствующейся механически усвоенной нормой. Самый худший — эгоистически ориентирован на себя, а свои су­ждения подчиняет не объективной истине, но заимство­ванным и утилитарно выгодным для него взглядам. Заметьте, что Толстой говорит о наличии «четырех основ», из которых складывается «все различие людей». Иными словами, он выделяет не типы, а параметры их оценки, систему координат, совпадающую с координатами четы­рех вариантов потребностей — «мотивов деятельности». «Одно из величайших заблуждений при суждениях о че­ловеке в том, — писал Толстой, — что мы называем, опре­деляем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все: все возможности, есть теку­щее вещество... Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором было ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее суще­ство»[[32]](#footnote-33).

Для того чтобы потребность трансформировалась в действие, в поступок, недостаточно самого факта ее актуализации. Потребность должна быть вооружена и усилена волей. Если выраженность и соподчинение основ­ных потребностей (биологических, социальных, идеаль­ных с их подразделением на потребности сохранения и развития, для себя и для других) представляет «ядро» личности человека, то в действиях обнаруживается его *характер*.

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

*Субъект есть деятельность*

*удовлетворения влечений.*

Гегель

Для того чтобы удовлетворять свои многочисленные потребности, человек должен быть вооружен соответствующими способами и средствами. Овладение навыками во многом отчуждено от процесса удовлетворения основ­ных потребностей и побуждается достаточно универсаль­ной *потребностью в вооруженности*.

Дело в том, что приобретение самых первых, самых элементарных умений маленьким ребенком не связано с его голодом или жаждой. Более того, голод, дискомфорт, вызванный мокрой пеленкой или охлаждением, преры­вают и тормозят процесс приобретения навыков, которые, в сущности, понадобятся ребенку много позднее.

Попытки двигать руками и пальцами проявляются уже через час после рождения. К концу четвертого месяца ребенок дотягивается и хватает видимые предметы, пыта­ется ими манипулировать. По мере взросления все боль­шее значение приобретает подражание действиям взрос­лого. В два месяца дети реагируют на проявляемое к ним внимание целой серией действий, включая улыбку, движения губ и языка. Некоторые авторы считают, что двух­месячный ребенок способен имитировать движения рта своей матери. В дальнейшем эта способность явится базой для обучения артикуляции и воспроизведения звуков речи.

Одну из трансформаций исходной потребности в воору­жении представляет *потребность в подражании*. Она про­является у детей самого раннего возраста вместе с другой трансформацией той же исходной потребности — *потреб­ностью в игре*, причем девочки играют в «дочки—матери», а мальчики имитируют отцов. Потребность в подражании функционирует, минуя сознание, и ребенок осваивает речь окружающих, не осознавая ни законов этой речи, ни техники произношения слов, в отличие от взрослого, изучающего иностранный язык сознательно.

Основное назначение и смысл подражания состоит, видимо, в том, что оно адресуется непосредственно к под­сознанию, освобождая сознание от работы, которая может совершаться без его участия. Обогащение подсознания, вооружение человека автоматизированными навыками — область чрезвычайно важная, хотя нередко игнорируемая. Мы уже говорили о том, что совесть занимает в поведе­нии человека должное место только тогда, когда ее веле­ния исполняются подсознательно, не требуя аргументов. То же самое относится к воспитанности в узком и широ­ком смысле этого понятия, к дисциилинированности, к точности выполнения обязательств, к тому, что назы­вают «чувством долга».

Дети способны десятки и сотни раз повторять одни и те же действия, единственным смыслом которых (разу­меется, не осознаваемым ребенком) является тренировка их психофизического аппарата. Потребность в вооруже­нии, направляемая подражанием действиям взрослых и сверстников, лежит в основе игровой деятельности. Бла­годаря ей ребенок заранее овладевает теми сферами дей­ствительности, которые пока ему недоступны, и навыками, которые пока ему не нужны.

О самостоятельности игровой мотивации свидетель­ствуют опыты на животных. Например, игровая борьба молодняка не содержит элементов конкуренции и сво­бодна от симптомов агрессивного поведения. Потребность в игре усиливается в условиях депривации: изолирован­ные друг от друга каждый второй день хомяки при встрече удваивают продолжительность игрового поведе­ния. Если крысят в возрасте от 25 до 45 дней лишить возможности игры, они становятся в дальнейшем менее способными к выработке сложных навыков.

Если у животного игра тренирует, вырабатывает коор­динацию движений, развивает живость, инициативность, т. е. вооружает его для удовлетворения биологических потребностей, то у человека она, кроме того, служит раз­витию интуиции, деятельности сверхсознания. Сверхсо­знание необходимо ребенку для постижения нового, неиз­вестного, а он со всех сторон окружен этим новым. С годами потребность в игре обычно притупляется вместе с ослаблением деятельности сверхсознания. Утратив по­требность в игре, ум ограничивается сознанием.

С возрастом потребность вооружения приобретает у че­ловека все более сложные формы. С одной стороны, она оказывается привязанной к той или иной первичной по­требности или обслуживает целую группу потребностей, если речь идет о средствах, равно пригодных для их удовлетворения. С другой стороны, она может приобрести самодовлеющий характер, когда человеку доставляет удо­вольствие одно лишь сознание своей вооруженности, как это случилось со Скупым рыцарем в трагедии Пушкина. Правда, здесь возникает сомнение, не имеем ли мы дело с подспудным, неосознаваемым удовлетворением иной пер­вичной потребности, например, в поддержании своего со­циального статуса, гарантированного накопленным богат­ством.

Не столько уж редко мы встречаем достаточно силь­ную социальную или познавательную потребность, не со­четающуюся у данного субъекта с выраженной потреб­ностью в вооружении. Так возникают дилетантизм и не­компетентность. Мы имеем в виду не тот случай, когда субъект лишен возможности приобрести соответствующие знания и навыки, а когда он не стремится их приобрести. Сочетание сильнейшей потребности (скажем, занять опре­деленное место) с отсутствием или бедностью средств достижения цели порождает целую гамму отрицательных эмоций и ведет к представлению о завистниках, о «врагах», якобы препятствующих чужим успехам. Подавляю­щее большинство неудачников — порождение недостаточ­ной вооруженности. Она может быть обусловлена разными обстоятельствами. Первый вариант: условия воспитания были таковы, что человек не смог приобрести знания и умения, необходимые для достижения цели. Второй: че­ловек выбрал цель (дело, профессию и т. д.), не соответ­ствующую его природным способностям и задаткам — например, занятия музыкой при отсутствии слуха. В этом случае даже сильная потребность в вооружении бывает не в состоянии компенсировать ошибочный выбор. Третий вариант: налицо и способности, и задатки, и возможность обучения, но потребность в вооружении слаба. Наконец, четвертый вариант: выбрана такая деятельность, которая требует доминирования совершенно определенной потреб­ности — потребности «для других» у педагога, потребности и познания у исследователя и т. п. Субъект же харак­теризуется выраженной социальной потребностью «занять место» и, успешно пополняя свой арсенал для достижения этой цели, остается слабо вооруженным для деятельности, которой он вынужден заниматься. Такого рода неудач­ник — явление распространенное и любопытное. Сам себя неудачником он обычно не считает, поскольку искомого места он добился, хотя настоящего специалиста из него не получилось. Окружающие видят, что он не на своем месте. Сам он этого не замечает, как не замечают искус­ственности его положения все те, кто занял аналогичные места вопреки своей непригодности для этих мест. Все они — неудачники для других и для дела, но не для себя.

Впрочем, даже при самых благих и искренних побуж­дениях, когда человек занят делом, соответствующим его главенствующей потребности, низкая квалификация оста­ется реальным злом. Она уменьшает общественную цен­ность личности, потому что только квалифицированная деятельность может стать реальной деятельностью «для других». Но недостаточная вооруженность наносит ущерб и самой личности, обрекая человека па хроническое ощу­щение своей неполноценности. В остроумной статье «От­куда берутся неудачники?» Б. Рымарь писал: «Так только ли о признании надо говорить, ища счастья в труде? Не в степени ли совершенства исполнения лю­бого дела вся суть заключена, и не в этой ли реальной сути надо искать — будет в труде радость или будет маята? Совершенство исполнения, компетентность испол­нителя — вот, кажется мне, та реальная система коорди­нат, с которой начинается восхождение от элементарных или полуэлементарных занятий ко все более сложным, все более увлекательным и достигаются глубины дали-дальние сложного. Берусь утверждать, и этому меня на­учила жизнь: при всех обстоятельствах, есть яркий талант или нет яркого, таланта, выбрана ли профессия по призванию или случайно, компетентность выручит. Она сыграет роль в успехах человека, нисколько не меньшую, чем его прирожденное влечение к чему-то, а может, эта роль будет еще и побольше»[[33]](#footnote-34).

Нужно ли говорить, сколь продуктивнее становится деятельность, когда компетентность сочетается с истин­ным призванием и талантом. Но даже в том случае, когда деятельность лишена новизны и творчества, высокий уро­вень профессионализма, точность и совершенство испол­нения, казалось бы, рутинных операций придают этой деятельности особую привлекательность за счет удовле­творения потребности в вооруженности и тех положи­тельных эмоций, которые возникают на ее основе. Педа­гогическая практика далеко не всегда и не в полной мере осознает реальность и значение этой потребности, не под­держивает и не культивирует ее. Стремясь сделать про­цесс обучения интересным, увлекательным для ребенка, педагог иногда апеллирует только к его любознательно­сти, опирается только на потребность познания и... по­ощряет дилетантизм. Увлеченность оборачивается поверх­ностностью, любознательность — верхоглядством. В действительности радость *узнавать* должна постоянно допол­ниться радостью *уметь* и *мочь*, поскольку на потребность в вооружении распространяется принцип ее незамени­мости удовлетворением других мотиваций.

Увлеченность делом сближает его с игрой: в процесс овладения профессией вовлекается сверхсознание и в ква­лификации появляются элементы творчества. Вот почему при обучении и воспитании так важно ориентироваться не только на сознание, но и на сверхсознание. Разумеется, в приобретении профессиональной квалификации решаю­щую роль играет сознание. Участие сверхсознания иногда необходимо (в искусстве, в науке), во многих случаях желательно, но в некоторых профессиях его вмешатель­ство недопустимо. Представьте себе творчество новых пра­вил уличного движения водителем городского транспорта.

Степень удовлетворения потребности в вооружении оказывает огромное влияние на формирование и черты характера. Высокий уровень вооруженности, осознавае­мый или неосознанно ощущаемый субъектом, делает его спокойным, уверенным, независимым, сохраняющим са­мообладание в сложной и быстро изменяющейся обста­новке Недостаточная вооруженность в сочетании с доми­нированием тех или иных первичных потребностей сооб­щает характеру черты тревожности, озабоченности своим положением среди людей, ревнивого отношения к успеху других, зависимости от их покровительства и поддержки. Вместо того чтобы сетовать на «дурной» или «слабый» характер воспитуемого, вместо абстрактных призывов к «исправлению» следует, в первую очередь, подумать о том, как *вооружить* данного человека способами удовлетворения тех его потребностей, которые представляют наибольшую социальную ценность.

Перечислить все, что входит или может входить в во­оружение и в квалификацию человека, невозможно, но существует вооружение универсальное, к которому отно­сится воображение, фантазия, логика. Вооруженность во­ображением есть, в сущности, вооруженность интуицией или сверхсознанием (мы этого касались выше и к этому еще вернемся). С ранних лет ребенок обогащает свое сознание, в том числе посредством подражания взрослым. Сверхсознанием он вооружается посредством игры. Как мы увидим далее, игра тренирует также и волю — другой, не менее важный вид вооружения. Сверхсознание игра тренирует, поскольку требует от ребенка находчивости и быстроты решений в проблемной ситуации, смелости в оперировании известными правилами. В самой природе игры заложено знание норм, следование им и вместе с тем их смелое преодоление. Такова, если можно так выра­зиться, и техника сверхсознания. В игре оно «технически тренируется», готовя этим ребенка к применению интуиции в тех случаях, когда придется самому впервые созда­вать что-либо новое, принимать нетривиальные решения. Это вооружение приобретается с удовольствием и потому угрожает вытеснить другие средства. Вот почему продук­тивность, действенность и сила сверхсознания как воору­женности определяются не им самим, а тем, насколько прочно оно опирается па сознание, на знания, усваивае­мые сознательно и планомерно.

Но вернемся к тому благоприятному случаю, когда субъект оказался вооружен знаниями и навыками, необ­ходимыми для удовлетворения его биологической, соци­альной или идеальной потребности. Почему же и в этом случае разные люди, обладающие примерно равной силой побуждения и равной степенью вооруженности, действуют подчас весьма различно? Почему деятельность одних пре­кращается при столкновении с первым же препятствием, а деятельность других продолжается с удвоенной энергией? Как правило, здесь мы встречаемся с функциони­рованием воли.

В большинстве современных руководств воля опреде­ляется как всесильный сверхрегулятор, управляющий желаниями и поступками человека. «Воля представляет со­бой особую форму активности человека. Она предполагает регулирование человеком своего поведения, торможение им ряда других стремлений и побуждений, предусматривает организацию цепи различных действий в соответствии с со­знательно поставленными целями. Волевая деятельность заключается в том, что человек осуществляет власть над собой…»[[34]](#footnote-35). Представление о воле как феномене, проти­востоящем потребностям и воздействующем на них, с наи­большей категоричностью высказал Ш. Н. Чхартишвили: «Своим названием волевое поведение обязано тому обстоя­тельству, что ему дает начало, а также управляет им на всем его протяжении не какая-либо потребность, а сама личность как субъект воли... Эти два явления — потреб­ность и воля — занимают, таким образом, совершенно раз­личные места в психологической структуре личности»[[35]](#footnote-36).

Сходных взглядов придерживается Е. Н. Баканов[[36]](#footnote-37), полагая, что воля есть подчинение субъектом своих побуждений логике отражаемой им объективной необходимости с достижением (в пределе) их совпадения. Логику объективной необходимости отражает сознание. Значит, суть воли заключается, по Баканову, в подчинении побуждений субъекта его сознанию. Сознание, потребности (по­буждения) и воля функционируют как самостоятельные и зачастую конфликтующие между собой силы. «Воля как общая способность сознания направлять поведение... Выражается в сознательных, целенаправленных действиях человека»[[37]](#footnote-38).

Но курильщик, решивший бросить курить, а затем не выдерживший и отправившийся за сигаретами, действует вполне сознательно и целенаправленно, ясно представляя себе все последствия своего поступка. Разве это дает нам основание назвать его поведение волевым? Нельзя считать волей и наиболее сильную, доминирующую потребность.

Во-первых, явно доминирующей потребности никакая воля не нужна, как она не нужна матери, бросающейся на помощь своему ребенку. Во-вторых, тот же курильщик в приведенном нами примере или игрок, устремившийся к карточному столу наперекор всем доводам рассудка, повинуются потребности, пересилившей все остальные, и тем демонстрируют свое крайнее... безволие. Следова­тельно, ни сознание, ни доминирующая потребность не объясняют нам существа воли.

На наш взгляд, приведенные выше определения воли (а вернее сказать — ее описания) представляют собой отказ от решении вопроса об объективной природе воли, отказ от попыток ответить на этот вопрос научно обосно­ванными представлениями. В приведенных выше опи­саниях воля оказывается некоей таинственной (уж не мистической ли?) силой, управляющей действиями чело­века вопреки тем мозговым механизмам, существование и функции которых известны современной науке. Подобная позиция, как бы ни прикрывалась она научной терминологией, не может нас удовлетворить.

Мы полагаем, что филогенетической предпосылкой волевого поведения у животных является «рефлекс свободы», открытый И. П. Павловым. В сопротивлении собаки попыткам ограничить ее двигательную активность Павлов увидел несравненно большее, нежели разновидность защитной реакции. «Рефлекс свободы» — это самостоятельная форма поведения, для которой *препятствие* служит не менее адекватным стимулом, чем корм для пищедобывательных действий, боль — для оборонительной реакции, а новый и неожиданный раздражитель — для ориентировочной. «Не будь его (рефлекса свободы), - писал Павлов, — всякое малейшее препятствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни»[[38]](#footnote-39).

На уровне человека взаимоотношения между реакцией на препятствие и мотивом, первично инициирующим поведение, становятся исключительно сложными. Активность, вызванная преградой, в определенных случаях и у определенного типа людей может оттеснить первона­чальное побуждение на второй план, и тогда мы встре­тимся с упрямством, с поведением, где преодоление стало самоцелью, а исходный мотив утратил свое значение и даже забыт.

Для человека преграда — это совсем не обязательно внешнее препятствие. Преградой часто бывает и конку­рирующая потребность. Тогда победа одного из конку­рирующих мотивов будет определяться не только его пре­обладающей силой, но и возникновением активности, по отношению к которой субдоминантный мотив есть пре­пятствие, «внутренняя помеха». С подобной ситуацией мы практически встречаемся во всех случаях, когда при­нято говорить о «волевом подавлении» эмоций, а точ­нее — обусловивших эти эмоции потребностей. Следует помнить, что волевые качества субъекта сами по себе не имеют положительного значения, а зависят от социальной ценности первичного побуждения.

Итак, сущность воли заключается в том, что она есть *потребность преодоления* препятствий. Как всякая иная потребность, она может явиться источником положитель­ных или отрицательных эмоций, обусловленных самим фактом преодоления (или непреодоления) преграды до того, как будет достигнута конечная цель. Ярким под­тверждением относительной самостоятельности этой по­требности могут служить и спортивные игры. Если бы цель спортивных соревнований заключалась единственно в победе над противником, спортсмены должны бы были предпочитать возможно более слабых конкурентов. Од­нако хорошо известно, что победа над слабым противни­ком не приносит ни радости, ни удовлетворения. С другой стороны сколько-нибудь полная автономия воли лишает ее адаптивного значения, превращает в бессмысленное упрямоство. Вот почему центральным вопросом психофизиологии воли остается вопрос о механизме, благодаря которому воля начинает помогать, «служить» именно этой, а не какой-либо иной потребности.

Здесь следует вспомнить, что конкуренция между по­требностями протекает с участием порождаемых ими эмо­ции. Вернемся теперь к нашему примеру с курильщиком. Разумеется, инстинкт самосохранения у человека сильнее потребности в никотине. Но вероятность смертельно опас­ного заболевания, с точки зрения субъекта, во-первых, мала, а во-вторых, отнесена к какому-то неопределенно отдаленному будущему. Согласно информационной теории эмоции, в подобной ситуации потребность самосохранения не порождает отрицательной эмоции страха потерять здо­ровье или даже умереть. В то же время потребность в никотине генерирует достаточно сильную отрицатель­ную эмоцию абстиненции наряду с воспоминанием о по­ложительной эмоции удовольствия от затяжки табачным дымом. Таким образом, силы эмоций оказываются явно неравными, и поведение ориентируется на удовлетворение потенциально более слабой (по сравнению с самосохранением) потребности в табаке.

Человек, обладающий развитой волей и решивший бросить курить, сопротивляется влечению к никотину не потому (точнее, не только потому), что боится заболеть раком легких, а потому, что воспринимает это влечение как преграду, как несвободу, актуализирующую потреб­ность преодоления — волю. Заметим, что вмешательство воли не отменяет универсальности регулирующей функ­ции эмоций, поскольку воля вмешивается в конкуренцию мотивов опять-таки на уровне эмоций — отрицательных в случае неспособности преодолеть «внутреннюю помеху» и положительных в случае «победы над собой». Таким образом, воля отнюдь не является сверх регулятором по­ведения, расположенным *над* потребностями и эмоциями, поскольку *она сама есть потребность*, специфическая по­требность преодоления, вооруженная своими способами удовлетворения и порождающая свой ряд эмоций. Прак­тически эта потребность выступает как склонность к достижению далеких целей, к овладению труднодостижи­мыми предметами влечений. Благодаря воле они выгля­дят для волевого человека особенно привлекательно, в от­личие от безвольного, которого тянет к наиболее легкому, наиболее доступному. Безвольный предпочитает, напри­мер, подчиниться потребности в экономии сил, уступить своей лени. Он находится во власти эмоций, вызванных доступностью желаемого. Первое препятствие, которое с удовольствием преодолевает волевой человек, это как раз потребность в экономии сил. Преодолеваемым пре­пятствием может стать и сама доступность.

Удовольствие от преодоления — наиболее яркий по­казатель воли. Через эту эмоцию, через вооружение воли и открывается путь к ее воспитанию, к ее усилению, чтобы человек не сникал под тяжестью неудач, но вновь и вновь испытывал радость преодоления препятствия, даже в том случае, когда это «препятствие» па пути к достижению поставленной цели — он сам. Поэтому каж­дый ребенок с ранних лет тренирует волю в играх, кото­рые приносят удовольствие, радость преодоления препят­ствий. Здесь воля обслуживает потребности в вооружении.

Индивидуально варьирующая норма удовлетворения «рефлекса свободы» (волн) — чрезвычайно важная, мо­жет быть, основная черта характера. Не случайно в на­шем представлении «человек с характером» означает «волевой», а «бесхарактерный» звучит как «безвольный». Проявить характер — значит настоять па своем, не отка­заться от поставленной ранее цели, завершить начатое дело.

Качеством, противоположным воле, является внушаемость, в том числе предрасположенность к гипнозу. Этот вывод подтвержден столь многими исследованиями, что вошел в энциклопедические определения. «Внушае­мость — восприимчивость к внушению; в более широком смысле — одно из проявлений слаборазвитой воли.. . Вну­шение — способ психического воздействия одного чело­века на другого, осуществляемого в бодрствующем и гип­нотическом состояниях... Внушение бывает сопряжено с ослаблением воли того, кто подвергается внушению, и подчинением его воле внушающего»[[39]](#footnote-40). Слабость типа нерв­ной системы представляет благоприятное условие для по­вышенной внушаемости, которая положительно коррели­рует с тревожностью у 83% исследованных лиц.

По-видимому, наиболее обоснованным в настоящее время является представление о гипнозе как о частном случае подражательного поведения, адресующегося непо­средственно к подсознанию. Человек в гипнозе (ведомый) отказывается от самостоятельности и переносит ответ­ственность за ситуацию па гипнотизера (лидера), сохра­няя ответственность перед ним за выполнение внушения. Отдаваясь гипнозу, субъект переходит из ситуации инфор­мационного дефицита к полноте информации о том, что и как ему следует делать, поскольку источником такой информации становится не противоречивая действитель­ность, а всезнающий лидер — гипнотизер. Естественно, что такой переход сопровождается возникновением весьма положительных эмоций.

Итак, самостоятельные по происхождению, но вместе с тем «обслуживающие» удовлетворение других побужде­ний, потребности вооружения и преодоления препятствий наряду с индивидуально варьирующей потребностью в экономии сил в значительной (если не решающей) сте­пени определяют индивидуальные черты характера, де­лают его сильным, слабым, решительным, медлитель­ным и т. д.

Индивидуально разнообразен и склад мышления лю­дей. Идея К. Маркса и Ф. Энгельса о происхождении мышления из внешней предметной деятельности путем ее интеоризации — «свертывания» этой деятельности и «перенесения» ее внутрь мозга получила конкретную фи­зиологическую разработку в трудах Сеченова, Павлова, Ухтомского, их многочисленных последователей. В пси­хологическом плане эта идея наиболее последовательно развивалась Л. С. Выготским и его школой, прежде всего Л. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурия. Совершенно очевиден тот гигантский выигрыш, который получает живой орга­низм благодаря способности оперировать внутримозговыми моделями внешне нереализуемых действий. Такое моде­лирование означает не только экономию энергетических ресурсов, не только избавляет живое существо от разру­шительных последствий неудачных проб, но открывает недоступные для внешних действий возможности твор­ческой комбинаторики.

Но, оперируя моделями внешнего мира — чувственно-конкретными впечатлениями или абстрактно-обобщенными понятиями, мышление остается деятельностью со всеми присущими ей чертами. На это обстоятельство ука­зал сам Выготский. «Мысль — не последняя инстанция. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из моти­вирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуж­дения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффек­тивная и волевая тенденция. Только она может дать от­вет на последнее „почему" в анализе мышления»[[40]](#footnote-41). «Мо­тивирующей сферой нашего сознания», по Л. С. Выгот­скому, мы считаем исходные основные и вспомогательные потребности. Поэтому, как и всякая иная деятельность человека, мышление побуждается наличием актуальной потребности и служит ее удовлетворению более или ме­нее успешно. В ходе мыслительной деятельности в зави­симости от падения или возрастания вероятности решения стоящей перед субъектом задачи возникают отрицатель­ные или положительные эмоции, которые принято назы­вать «интеллектуальными». Продуктивность мышления, его способность вооружить предстоящую внешнюю дея­тельность программой, наиболее падежно ведущей к удов­летворению соответствующей потребности, зависит от вооруженности самого мышления запасом необходимых знаний, от волевых качеств субъекта, «терпения думать об одном и том же», как сказал Ньютон, от механизмов творчества, о котором речь пойдет ниже.

Мы уже упоминали о том, что по типу присущего им мышления Павлов разделил всех людей на «художни­ков», «мыслителей» и представителей наиболее много­численного среднего типа, в равной мере использующих как мышление образами (первая сигнальная система по Павлову), так и понятиями (вторая, речевая сигнальная система). Вряд ли И. П. Павлов, выдвигая свою идею о наличии «специально человеческих типов», мог пред­полагать, что в ближайшем будущем эта идея получит подтверждение в анатомическом материале. После пио­нерских опытов Р. Сперри на пациентах с перерезанным мозолистым телом, связывающим правое и левое полуша­рия головного мозга, количество работ, посвященных функциональной асимметрии мозга, стало нарастать лави­нообразно.

Сегодня мы знаем, что левое полушарие (у правшей) связано с речью, абстрактно-понятийным мышлением, ма­тематическими способностями, в то время как правое опе­рирует чувственно-непосредственными (зрительными, слу­ховыми, осязательными и т. д.) образами, пространствен­ными представлениями, связано с музыкальными способностями и комбинаторной одаренностью. При пора­жении правого полушария нарушается восприятие про­странства и времени. Это становится понятным, если учесть, что оперирование абстрактными понятиями не требует временных «меток» (стол был столом во времена Пушкина и останется им еще через сто лет). Конкретные впечатления о том или ином событии, предмете, встречен­ном нами человеке и т. д. должны быть упорядочены во времени, иначе мы потеряем возможность ориентиро­ваться в последовательности событий. По образному выра­жению авторов этой концепции Т. Л. Доброхотовой и П. Н. Брагиной[[41]](#footnote-42), правое полушарие связано с прошлым и настоящим, а левое обращено к будущему, прогнозиро­вание которого носит вероятностный характер, а само бу­дущее может быть в значительной мере изменено актив­ными действиями субъекта.

Множество фактов свидетельствует о преимуществен­ной «эмоциональности» правого полушария. На большую эмоциональность конкретных чувственных образов по сравнению с отвлеченными понятиями указывал еще И. П. Павлов. Остроумный эксперимент поставили Сакейм и Гур. Фотографии лиц, находившихся в различном эмо­циональном состоянии, были склеены из одних левых или одних правых половин. Большая группа наблюдателей оценила выражение эмоций как более интенсивное в слу­чае предъявления левосторонних фотографий. Если вспомнить, что мышцы левой половины лица управляются командами из правого полушария головного мозга, станет очевидной преимущественная зависимость эмоциональной экспрессии от правого полушария. Более того, факты по­казывают, что левое полушарие теснее связано с положи­тельными эмоциями, а правое — с отрицательными.

Разумеется, было бы наивно представлять себе, что «центры» положительных эмоций находятся в левом по­лушарии, а «центры» отрицательных эмоций — в правом. Дело обстоит сложнее. Одно из самых убедительных объ­яснений принадлежит Л. Р. Зенкову. Выключение левого полушария затрудняет вербализацию окружающей обста­новки (ее описание словами), делает эту ситуацию непонятной для больного и потому пугающей, неприятной, эмоционально отрицательной. Выключение правого полу­шария, напротив, упрощает ситуацию, проясняет ее, что ведет к положительным эмоциям. Здесь следует остано­виться и уточнить: почему упрощает окружающий субъ­екта мир выключение правого полушария? Очевидно, не за счет лучшего понимания всей реальной сложности ситуации, а за счет сужения и обеднения сферы потреб­ностей и мотивов, упрощения тех требований, которые субъект предъявляет к среде.

С подобным предположением хорошо согласуются клинические наблюдения, свидетельствующие о том, что больные с поражением левого полушария озабочены своим состоянием, тревожатся о нем, в то время как больные с поражением правого полушария беспечны и легкомысленны. Возникает парадоксальная ситуация: сохранность словесного логического мышления сочетается с совершенно неадекватной оценкой своего состоя­ния. Больные, утратившие «высший» (абстрактно-поня­тийный, словесный) аппарат, ведут себя более разумно и адекватно, чем сохранившие его.

Дело в том, что правое полушарие, особенно его лоб­ные отделы, больше, чем левое, связано с потребностно-мотивационной сферой, которой принадлежит инициирую­щая роль в процессах целеобразования. Образно говоря, правое полушарие больше связано с порождением целей, а левое — с их конкретизацией и с уточнением средств и достижения этих целей. Человек без левого полушария сохраняет цели, но остается без средств. Отсюда низкая вероятность достижения целей и как следствие отрица­тельные эмоции, растерянность, тревога, депрессия. Чело­век без правого полушария обладает набором средств, явно превосходящих его сузившиеся и упрощенные цели. Отсюда избыток положительных эмоций, эйфория, ощу­щение мнимого благополучия. Таким образом, анализ эмоциональных последствий поражения правого и левого полушарий, во-первых, еще раз убеждает нас в информа­ционной природе этих эмоциональных сдвигов, а во-вто­рых, указывает на оценку вероятности достижения цели (удовлетворения потребности) как на важнейшую функ­цию новой коры, специально — лобных ее отделов.

Оперируя конкретными и обобщенными образами действительности, мышление содержит в себе потенциаль­ную опасность «отрыва» от этой действительности, пере­вода действий из реального в исключительно воображае­мый, мыслимый план. В результате естественная последо­вательность событий по схеме: потребность — «проигры­вание» способов ее удовлетворения в мышлении — реали­зация внешних действий — удовлетворение потребности деформируется таким образом, что потребность частично удовлетворяется самим процессом мышления. Речь идет о мечтательности в ее пассивно-созерцательном, манилов­ском варианте. Замещение реального удовлетворения потребности ее воображаемым удовлетворением нередко встречается тогда, когда субъект недостаточно вооружен и настойчив для достижения реального результата. Вспомним «сны наяву» поручика Ромашова из повести А. И. Куприна «Поединок», рисующего себе увлекатель­ные картины своих подвигов, служебных успехов, бле­стящей карьеры вместо прозябания в заштатном пехот­ном полку.

Но природа человека слишком сложна и противоре­чива, чтобы мы могли уложить ее в прокрустово ложе своих однозначных оценок. «Пустая» мечтательность, не сдерживаемая рамками реальных возможностей, может оказаться весьма плодотворной в сфере научного и худо­жественного творчества. В любом случае соотношение между внешне реализуемой и мыслительной деятель­ностью представляет важный параметр для определения делового, прагматического, пассивно-созерцательного, мечтательного и т. д. характера данного человека.

Мы рассмотрели индивидуальные особенности потребностной сферы личности и варианты ее проявления в действиях, в совершаемых личностью поступках. Но остается еще такая черта, как эмоциональность — одна из наиболее ярких характеристик темперамента. Впрочем, мы уже знаем, что сами эмоции вторичны и производны от потребностей и представлений о вероят­ности (возможности) их удовлетворения. Это означает, что не в эмоциях самих по себе, а в индивидуальных осо­бенностях механизмов их формирования следует искать естественнонаучные основы темпераментов.

# ПО ТУ СТОРОНУ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

*С именем «органа» мы привыкли связывать*

*представление о морфологически сложившемся,*

*статически постоянном образовании. Это*

*со­вершенно не обязательно. Органом может быть*

*всякое временное сочетание сил, способное*

*осуществить определенное достижение.*

А. А. Ухтомский[[42]](#footnote-43)

До сих пор мы рассматривали потребности человека изолированно, анализируя их значение и роль в органи­зации целостного поведения. Однако «различные потреб­ности внутренне связаны между собой в одну естествен­ную систему...»[[43]](#footnote-44). Среди актуальных потребностей в каждый момент времени выделяется доминирующая потребность, требующая первоочередного удовлетворения, и субдоминантные потребности, сосуществующие или конкурирующие с доминантой. Все многообразие собы­тий, происходящих в окружающей среде, поступающие из этой среды сигналы, в свою очередь, разделяются на сигналы с высокой или относительно низкой вероят­ностью их подкрепления факторами, непосредственно удовлетворяющими ту или иную потребность.

Результаты собственных экспериментов и анализ данных литературы привели нас к выводу о том, что потребностно-информационной организации поведения соответ­ствуют функции четырех мозговых образований: фрон­тальных (лобных) отделов новой коры, гиппокампа, ядер миндалевидного комплекса и гипоталамуса.

Оказалось, что благодаря передним отделам неокортекса поведение ориентируется на сигналы высоковеро­ятных событий, в то время как реакции на сигналы с ма­лой вероятностью их подкрепления подвергаются тормо­жению. Двустороннее повреждение лобной коры у обезьян (макаки резусы) ведет к нарушению вероятностного прогнозирования, которое не восстанавливается на про­тяжении 2—3 лет. Аналогичный дефект наблюдается у больных с патологией лобных долей, для которых ха­рактерно стереотипное повторение одних и тех же дей­ствий, утративших свое значение. При более обширном поражении лобных долей возникают легкая отвлекаемость, соскальзывание на побочные ассоциации.

Ориентация па сигналы высоковероятных событий делает поведение адекватным и результативным. Однако в особых условиях, в ситуациях со значительной сте­пенью неопределенности при явном дефиците прагмати­ческой информации необходимо учитывать и возможность маловероятных событий. Для реакций на сигналы с низ­кой вероятностью их подкрепления важна сохранность гиппокампа — второй «информационной» структуры мозга, в известном смысле дополняющей деятельность лобных отделов коры.

В процессе экспериментов с вероятностным прогнози­рованием В. М. Русалов обнаружил три группы обследо­ванных им лиц. Представители первой группы адекватно отражают характеристики вероятностной среды (вероят­ностное соответствие). Представители второй группы за­нижают частоту более частого события (вероятностное безразличие), а представители третьей — завышают ее (стратегия максимализации). Эксперименты на животных с последовательным выключением мозговых структур по­зволяют предположить, что субъекты первой группы об­ладают хорошо сбалансированными функциями лобной коры и гиппокампа, у лиц второй группы относительно преобладают функции лобной коры, а у представителей третьей — функции гиппокампа. В результате субъектив­ная оценка вероятности событий у представителей по­следних двух групп не соответствует объективной веро­ятности редких и частых событий.

Выделение наиболее острой доминирующей потреб­ности осуществляется с участием «мотивационной под­системы» мозга, включающей миндалину и гипоталамус, причем миндалина обеспечивает организацию баланса, динамической иерархии сосуществующих и конкурирую­щих потребностей, а гипоталамус важен для выявления мотивационной доминанты. Двустороннее разрушение латерального отдела гипоталамуса вызывает общее рас­стройство активного («произвольного») поведения живот­ных с симптомами малоподвижности, вялости, застыва­ния в одной и той же подчас очень необычной позе, т. е. признаки своеобразного «безволия». Такие последствия вполне естественны, потому что лимбическая (мотивационная) система мозга, к которой относится и гипота­ламус, анатомически связана с двигательной системой, в частности с так называемым бледным шаром. Базальные ганглии (к их числу относится и бледный шар) важны для самых ранних стадий инициации произволь­ных движений, их нервные клетки активируются пер­выми. Импульсация из базальных ганглиев и мозжечка приходит в кору через зрительный бугор (таламус). Кора оформляет движение, детализирует его. В ответ на сиг­нал к движению зубчатые нейроны мозжечка разряжа­ются через 30 мс, а нейроны коры через 40 мс после сигнала.

Потребностно-мотивационная подсистема (миндалина и гипоталамус) оказывает мощное влияние на информа­ционную подсистему (новая кора и гиппокамп). Просле­жены анатомические связи латеральных отделов лобной коры с гипоталамусом, вентральных — с миндалиной, дорзальных — с гиппокампом. В результате оценка вероят­ности внешних событий оказывается зависимой от силы и качества доминирующей потребности, а эта оценка в свою очередь влияет тормозящим или облегчающим об­разом на силу потребности и ее соотношение с другими конкурирующими мотивациями.

В процессе организации целенаправленного поведения, безусловно, участвуют и многие другие образования лимбической системы (перегородка, неспецифические ядра таламуса, цингулярная и энторииальная кора), не говоря уже о мощной системе анализаторов (зрение, слух, обо­няние и т. д.), регуляции уровня бодрствования (рети­кулярные формации) и структурах, осуществляющих двигательные акты. Но мы ведем речь о тех структурно-функциональных системах мозга, которые определяют стратегию и тактику поведения, где решается вопрос о том, на *какие сигналы и каким образом* следует отве­чать. Пока нам не удалось обнаружить структуру, кото­рая по своему функциональному значению могла бы быть поставлена в один ряд с передними отделами новой коры, гиппокампом, миндалиной и гипоталамусом.

Имеются основания предположить, что индивидуаль­ные особенности взаимодействия этих четырех структур и лежат в основе типов, выделенных Гиппократом и Пав­ловым.

Какие черты будут характеризовать поведение субъ­екта с относительным функциональным преоблада­нием системы «гипоталамус—лобная кора»? Это будет субъект с четко выраженным доминированием той или иной потребности, целеустремленно направленный на сигналы объектов, способных ее удовлетворить. При этом он склонен игнорировать и конкурирующие мотивации и сигналы, отвлекающие его от продвижения к намеченной цели. А теперь сопоставим нашу гипотетическую харак­теристику с описанием конкретного мальчика Саши П., которого В. С. Мерлин и Б. А. Вяткин приводят в каче­стве примера холерического темперамента — сильного возбудимого типа по Павлову[[44]](#footnote-45). Его интересы посто­янны и устойчивы, но он не теряется и при встрече с трудностями, упорен в их преодолении. На уроках мальчик сосредоточенно слушает и работает, не отвле­каясь посторонними событиями.

Согласно приведенным выше данным, функциональное преобладание системы «миндалина—гиппокамп» будет сопровождаться трудностью выделения доминирующего мотива и готовностью реагировать на самый широкий круг объективно малозначимых сигналов. Отсюда сочета­ние нерешительности, бесконечных колебаний с повы­шенной чувствительностью, с переоценкой значимости внешних событий. Не таков ли Коля М. — по мнению В. С. Мерлина и Б. А. Вяткина, типичный меланхолик, или слабый тип, по терминологии И. П. Павлова? Коля болезненно чувствителен к мелочам, легко теряется, сму­щается, не уверен в себе. Доминирующая потребность легко уступает субдоминантной.

Преобладание системы «гипоталамус—гиппокамп» должно вести к несколько парадоксальной комбинации четкого выделения доминирующих мотивов с генерализо­ванными реакциями на сигналы маловероятных событий, на сигналы с невыясненным значением. И снова на па­мять приходит описание типичного сангвиника (сильный, уравновешенный, подвижный тип) Сережи Т., который настойчив, энергичен, работоспособен, но только на ин­тересных для него уроках (доминирующий мотив). Па неинтересных уроках он легко отвлекается, увлекается посторонними вещами. Сережа легко привыкает к новой обстановке, его нетрудно дисциилинировать.

Если в системе четырех структур преобладает под­система «миндалина—лобная кора», мы получим субъ­екта с хорошо сбалансированными потребностями без осо­бого акцентирования одной из них. Подобный субъект игнорирует множество происходящих вокруг него собы­тий. Побудить к деятельности его могут только высоко­значимые сигналы. Не такова ли Аида Н., описанная Мерлиным и Вяткиным в качестве примера флегматика — сильного, уравновешенного, инертного типа? Она терпелива, выдержанна, хорошо владеет собой. На уроках спо­койна, не отвлекается. Эта инертность имеет и свою обо­ротную сторону: девочка трудно переключается па реше­ние новых задач, долго привыкает к новой обстановке.

Мы рассмотрели четыре варианта функционального преобладания структурных «пар» и обнаружили их со­ответствие психологическим характеристикам типов Гип­пократа—Павлова. Остаются еще два возможных вари­анта: «лобная кора—гиппокамп» и «гипоталамус—мин­далина». Последствия повреждения этих мозговых обра­зований в опытах на животных побуждают нас предположить, что от их соотношения зависит параметр экстра- и интровертированности.

Заметим, что представления об интро- и экстравертированности страдают крайней противоречивостью. Об экстра- или интровертированности судят по тому, от чего преимущественно зависят реакции и деятельность человека — от внешних впечатлений, возникающих в дан­ный момент (экстравертированность), или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и буду­щим (интровертированность). Л. Мартой и Я. Урбан характеризуют интроверта как сильного, малочувстви­тельного, неуравновешенного, а экстраверта — как сла­бого, чувствительного, склонного к торможению индиви­дуума. Согласно Дж. Грею, чем выше чувствительность субъекта к наказанию и неуспеху (ненаграде), тем глубже степень его интроверсии. По утверждению Л. Мар-тона и Я. Урбана, экстраверты хорошо усваивают со­циальные нормы и легко устанавливают межличностные контакты, в то время как интроверты плохо устанавли­вают связи и с трудом входят в чуждый им мир чувств других. Согласно Грею, все обстоит наоборот: интроверты социализируются хорошо, а экстраверты плохо. Перечень подобных недоразумений можно было бы продолжить, и все же деление на интро- и экстравертов, по-видимому, имеет свои основания, иначе эта классификация не оказалась бы столь живучей. Ее жизнеспособность подтвер­ждается и клинической практикой: невроз экстравертов чаще протекает с симптомами истерии и психастении, тогда как невротики-интроверты склонны к тревоге, реак­тивной депрессии и фобиям. Исследование вызванных потенциалов на слуховой стимул у экстра- и интровертов обнаружило особенности этих потенциалов как на корко­вом, так и на подкорковом уровне.

Если учесть описанные выше функции мозговых структур, то преобладание «информационной» подсистемы (новая кора и гиппокамп) даст гипотетического субъекта преимущественно ориентированного на внешнюю среду и поведенчески зависимого от происходящих в этой среде событий. По-видимому, его можно назвать экстравертом, с характерной для последнего общительностью, стремлением к другим людям, склонностью к переменам, к движению, к освоению среды. Иные черты обнаружатся у субъекта с преобладанием «мотивационной» системы. Здесь сфера внутренних мотивов и установок окажется достаточно ригидной по отношению к внешним влияниям. И действительно, по описанию В. М. Смирнова и А. Ю. Панасюка, интроверты склонны придерживаться ранее усвоенных этических норм, они выдержанны, стремятся к порядку, застенчивы, малообщительны с окружающими.

Нетрудно видеть, что концепция «четырех структур» позволяет интегрировать классификацию Гиппократа—Павлова с параметром экстра- и интровертированности. При этом нет необходимости ни отождествлять экстраверированность с параметром силы нервной системы (как поступил Айзенк), ни рассматривать экстра- и интровертированность совершенно изолированно от павловской типологии. Концепция «четырех структур» постулирует экстра- и интровертов с такой же необходимостью, как темпераменты по Гиппократу и типы нервной системы по Павлову. Возможно, что каждый из типов (темпера­ментов) обладает в то же время определенной степенью экстра- и интровертированности.

Разумеется, все перечисленные выше типы есть абстракция. Реальная жизнь предъявляет нам бесконеч­ное разнообразие промежуточных вариантов взаимодей­ствия четырех мозговых структур. Здесь мы полностью солидарны с В. М. Тепловым и В. Д. Небылицыным и предпочитаем говорить скорее о свойствах головного мозга, чем о типах в их старом понимании. Вместе с тем мы не склонны совершенно отказываться от типологии Гиппократа и Павлова, выдержавшей эмпирическую про­верку двух тысячелетий. Понятия об «активности во­обще», равно как и об «эмоциональности вообще», пред­ставляются нам очень расплывчатыми и неутонченными.

Отмеченную еще И. П. Павловым тенденцию к пре­имущественному реагированию одной из базальных эмо­ций мы пытаемся понять с позиции информационной тео­рии эмоций. Поскольку холерик (сильный безудержный тип) движим устойчиво доминирующей потребностью, его действия, как правило, обладают чертами преодоления и борьбы с характерной для этих действий эмоцией гнева, ярости, агрессивности. Меланхолик (слабый тип), напротив, всегда тяготеет к обороне, к защите, нередко окра­шенной эмоциями страха, неуверенности, растерянности, обладающий выраженным мотивационным «стержнем» и одновременно любознательный, ищущий, «открытый» среде сангвиник (сильный подвижный тип) чаще других испытывает положительные эмоции. Что касается флег­матика, то при всей его эмоциональной индифферент­ности он тем не менее опять-таки тяготеет к положитель­ным эмоциям, поскольку его внутренний мир хорошо сбалансирован и устойчив. И снова мы обязаны подчер­кнуть, что речь идет именно о тенденции, о предпочти­тельной склонности, поскольку представители любого типа наделены всем арсеналом человеческих эмоций.

Далее мы можем сделать еще один шаг и попытаться показать, что индивидуальные особенности взаимодейст­вия четырех структур в случае их патологического на­рушения определяют основные разновидности человече­ских неврозов, описанных клиницистами. «Следует пола­гать, — пишет невропатолог Г. К. Ушаков, — что ни неврозы, ни психозы не могут возникнуть без предше­ствующей конституциональной или приобретенной недо­статочности соответствующих функциональных систем мозга»[[45]](#footnote-46). На значение расстройства функций лимбической системы при неврозах указывает в своих работах А. М. Вейн[[46]](#footnote-47).

При неврастении ослабление волевых побуждений со­четается с обостренной чувствительностью, раздражитель­ностью. Любое неожиданное событие — стук в дверь, те­лефонный звонок, телеграмма — способно вызвать состоя­ние тревоги, сердцебиение, потливость, мышечный тремор. Не указывают ли эти симптомы на известное ослабление системы мотивационных структур (прежде всего гипоталамуса) наряду с усиленным функциониро­ванием гиппокампа, поддерживающего реакции на сиг­налы объективно маловероятных событий?

Для истерии, напротив, характерна сверхценная идея, занимающая господствующее положение в жизни субъекта. Истерик навязывает среде свою версию истол-кования внешних событий. Здесь снова можно заподоз­рить патологически усиленное функционирование гиппо­кампа, но теперь уже сочетающееся с мощной мотиваци­онной доминантой.

Характернейшая черта психастении — нерешитель­ность, неспособность быстро принять решение и руко­водствоваться им (патологическое нарушение функций миндалины?). Этой нерешительности сопутствуют мни­тельность, навязчивое мудрствование, навязчивые страхи, ипохондрия. Последняя группа симптомов заставляет думать о дефекте функций лобных отделов коры.

Если принять общее положение И. П. Павлова о том, что основными «поставщиками» неврозов являются край­ние типы — сильный неуравновешенный и слабый, и совместить это положение со схемой взаимодействия че­тырех структур, то окажется следующее. Патология под­системы «лобная кора — гипоталамус» дает истерию по гипоталамическому варианту с чертами экстравертированности или невроз навязчивых состояний в случае пре­имущественного дефекта передних отделов новой коры и склонности к интроверсии. Вызванное болезнью нару­шение функций подсистемы «гиппокамп—миндалина» приведет к неврастении, которая, как правило, не затра­гивает высших интеллектуальных функций, свидетель­ствуя о полноценной деятельности неокортикальных структур. Вовлечение в патологический процесс передних отделов неокортекса в сочетании с нарушенным функцио­нированием миндалины поведет к психастенической симптоматике.

До сих пор, говоря о доминирующей потребности и субдоминантных мотивах, мы абстрагировались от их ка­чества. Но подобное абстрагирование становится невоз­можным, как только мы вступаем в область невротиче­ских заболеваний человека. Выраженный «социальный эгоизм» истерика качественно отличен от «биологического эгоизма» психастеника, сосредоточенного на малейших признаках своих внутренних болезненных ощущений. Тем более сложное происхождение имеют чувства неяс­ной вины и обостренной ответственности, столь характер­ные для ряда случаев неврастении.

Индивидуальные особенности взаимодействия четырех мозговых структур при всем их значении далеко не полностыо определяют симптоматику невротических заболе­ваний. В поведении истерика, ожесточенно требующего к себе внимания окружающих, в его вычурной театраль­ности отчетливо проступает болезненно трансформиро­ванная социальная потребность «для себя». Озабочен­ность своим здоровьем, при которой весь мир оказывается заслонен малейшими признаками (подчас несуществую­щих!) заболеваний, есть не что иное, как утрированная биологическая потребность «для себя» — основа ипохон­дрических состояний. Другое дело — чувство болезненной ответственности, преследующей субъекта вины, тревога и отчаяние при мысли о том, что «ничего у меня не полу­чается и ничто мне не удается». Здесь уже доминирует хронически неудовлетворенная социальная потребность «для других».

Не менее отчетливо значение качества потребностей обнаруживается в генезе невротических депрессий. Мы имеем в виду две их распространенные разновид­ности: депрессию тревоги и депрессию тоски. В основе депрессии тревоги лежит хроническое неудовлетворение потребностей сохранения с типичными для этих потреб­ностей эмоциями тревоги, ощущения какой-то постоянной угрозы, неведомой опасности, нависшей над субъектом, его положением в семье и на работе, над его близкими. Депрессия тоски порождается неудовлетворенностью потребностей развития, продвижения, улучшения своей жизненной позиции.

Если индивидуальные особенности функционирования четырех структур, несомненно, имеют врожденный компо­нент, подвергающийся затем онтогенетической трансфор­мации, то вопрос о генетическом элементе в формирова­нии иерархии потребностей остается открытым. Впрочем, различная легкость социализации экстра- и интровертов, подчеркнутый эгоизм истерика и хроническое чувство вины при некоторых формах невротической депрессии позволяют думать, что взаимодействие четырех структур определенным образом коррелирует с индивидуальным набором потребностей. Вероятность принятия функций лидера субъектом холерического темперамента выше, чем у меланхолика — слабого типа нервной системы, по клас­сификации Павлова. И все же решающая роль в конкрет­ной трансформации потребностей, бесспорно, принадле­жит онтогенезу, а у человека — воспитанию микро- и макросоциальным окружением.

В природе не существует «хороших» и «плохих» ти­пов нервной системы. Сам факт их сохранения на протя­жении миллионов лет сначала биологической, а затем культурно-исторической эволюции показывает, что для человечества в целом необходимо и полезно наличие разных типов (темпераментов). В. М. Теплов и В. Д. Не-былицын представили в свое время убедительные дока­зательства тому, что для различных видов деятельности оптимальными оказываются свойства, присущие тому или иному темпераменту. Если «сильный» тип обнаруживает высокую устойчивость в экстремальных ситуациях, то повышенная чувствительность «слабого» типа представ­ляет не менее ценное качество в иных условиях, где требуется способность к быстрому и тонкому различению внешних сигналов. Специальные эксперименты показали, что представители разных типов нервной системы ре­шают одни и те же задачи в равной мере успешно, только каждый из них использует свою тактику деятель­ности. Человечество сильно своим разнообразием.

Мы не раз подчеркивали значение воспитания для формирования личности на базе индивидуальных особен­ностей нервной системы, природных способностей и за­датков. Полезно более подробно рассмотреть, каким обра­зом это происходит.

# ВООРУЖЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ

*Всего необыкновеннее слышать жалобы на*

*страсти, но как справедливо сказал Мабли: чем*

*страсти сильнее, тем они полезнее в об­ществе;*

*подавление их может быть тольковредно.*

Н. И. Лобачевский[[47]](#footnote-48)

Каждый из нас, приходя в мир, застает совокупность общественно-исторических норм удовлетворения потреб­ностей, выработанных человечеством к моменту нашего рождения. Способы, средства и нормы, присущие данной эпохе, сообществу, социальной группе, составляют их культуру[[48]](#footnote-49), а овладение субъектом способами, средствами и нормами удовлетворения своих потребностей есть его *воспитание*.

Норм так же много, как и потребностей. Нормы усва­иваются в ходе удовлетворения потребностей и передаются от поколения к поколению. При этом самые перво­начальные, наиболее значительные и устойчивые нормы усваиваются путем подражания и в большой мере под­сознательно, как нечто, не нуждающееся в логических обоснованиях. Более того, наиболее эффективно нормы выполняют свое назначенние, лишь перейдя в подсозна­ние, даже в том случае, если они приобретались вполне сознательно. Лучшая иллюстрация тому — овладение лю­бым иностранным языком. Язык можно считать освоен­ным начиная с момента, когда его употребление не тре­бует специальных усилий со стороны сознания.

Выше мы уже говорили о том, что происходящие с помощью эмоций трансформации, развитие, усиление (или, напротив, подавление) той или иной потребности зависят от своевременности и эффективности вооруже­ния. Так, в зависимости от способов и средств удовлетво­рения присущая подростку потребность занять определенное место в группе сверстников, утвердить себя среди других, а следовательно, и в своих собственных глазах может трансформироваться в общественно полезную дея­тельность — учебу, изобретательство, спорт и т. п. или в хулиганские действия, кажущиеся «немотивированными».

Дело осложняется тем, что многие потребности не получают адекватного отражения в сознании субъекта, особенно если речь идет о наиболее глубоких, исходных потребностях. Вот почему прямая апелляция к сознанию, настойчивые попытки разъяснить, «что такое хорошо и что такое плохо», как правило, остаются удручающе не­эффективными. Еще Сократ был поражен алогичностью поведения человека, который знает, что хорошо, а делает то, что плохо. Человек ведет себя асоциально отнюдь не потому, что он не ведает, что творит. «Ошибки и недо­умения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца... — писал Ф. М. Достоевский. — Ошибки сердца есть вещь страшно важная… которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни ука­зывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их со своим выраженным духом...»[[49]](#footnote-50). Это замечание великого худож­ника созвучно утверждению физиолога А. А. Ухтомского: «... доминанта всегда оправдывается и логика — слуга ее»[[50]](#footnote-51).

Сколько случаев антиобщественного поведения под­ростков, бессмысленных травм и пьянства можно было бы избежать, если бы естественные потребности занять ме­сто в группе, потребности освоения новых сфер действи­тельности (информационное голодание), потребности овладения навыками, которые могут понадобиться лишь в дальнейшем (игровая потребность, с возрастом пере­растающая в потребность универсальной вооруженности), были бы канализированы в желательном для общества направлении. Но дефекты воспитания оставили этих под­ростков без оптимальных способов удовлетворения пере­численных и подобных им потребностей, а результатом явились уродливые формы трансформации неудовлетво­ренных влечений. Социальный и духовный голод оста­ется, хотя, как правило, субъект не сознает, в чем именно он так остро, так мучительно нуждается. Этот голод тол­кает его к водке, стремительно упрощающей сферу по­требностей и способы их удовлетворения. И тогда любой собутыльник становится другом, любая женщина — же­ланна, любой незнакомый — объект для агрессии. В ре­зультате 80% убийств и 90% хулиганств совершается подростками в пьяном виде.

Значит, задачей воспитания является не проповедь преимуществ «хорошего» по сравнению с «плохим», не абстрактное стремление к «культуре чувств и богатству эмоций», а точное и конкретное *информирование* воспитуемого о тех способах, средствах и путях удовлетворения этих потребностей, которые не ведут к нарушению обще­ственно продуктивных норм и представляют ценность для прогрессивного развития общества и самореализации личности во всем богатстве ее потенциальных способно­стей и задатков. Выше уже говорилось о том, что «пло­хих» исходных потребностей нет, что их асоциальные трансформации возникают в столкновениях потребностей, когда удовлетворение одной, более значительной, прино­сится в жертву другой, менее значительной, но в данный момент обостренной и усиленной кажущейся легкостью ее удовлетворения. А раз так, то борьба с этими транс­формациями должна заключаться в вооружении (прежде всего информацией) той потребности, которая может, но не должна быть оттеснена давлением другой, трансфор­мирующейся в нечто легко доступное и обещающее не­медленное удовольствие. Возрастающая вероятность удов­летворения вооруженной соответствующей информацией потребности породит те положительные эмоции, которые

обеспечат ее победу в конкуренции с другими, менее цен­ными и социально неприемлемыми мотивами. В сущно­сти, так и поступают все талантливые педагоги, все энту­зиасты-организаторы летних спортивно-трудовых лагерей для «трудных» подростков, интуитивно вставшие на путь «потребностно-информационной педагогики».

Человек отличается «безграничностью своих потреб­ностей и их способностью к расширению» (*К. Маркс*)[[51]](#footnote-52). Ненасытность потребностей — условие развития, освоения новых сфер действительности, поиска новых, неведомых ранее средств и способов удовлетворения. Но отсюда же проистекает непреложная необходимость социально регу­лируемых норм. Нормирование способов, средств и раз­меров удовлетворения потребностей определяется уровнем экономического, политического, идеологического развития данной общественной формации, ее классовой структу­рой, историческими и национальными традициями. Эти нормы получают отражение в общественном сознании и охраняются господствующей идеологией.

Нормирование (культура) касается буквально всех сторон социального бытия человека: поведения, взаимо­отношений с другими людьми, производственной деятель­ности, одежды и т. д., и т. п. Мы называем человека культурным или некультурным в зависимости от того, в какой мере его поведение соответствует господствую­щим в данной культуре нормам. Вот почему, например, вполне культурный европеец может быть признан мало­культурным в обществе японцев, придерживающихся иных норм. Критерий нормы позволяет говорить о культуре труда, быта, еды, речи, общей воспитанности или невос­питанности субъекта.

Потребность следовать нормам, принятым в сообще­стве (группе), — очень сильная потребность, цементирую­щая группу и способствующая стабилизации норм. Не случайно большинство людей, как правило, удовлетворя­ется средней нормой потребностей — точнее, довольно широким диапазоном колебаний этой средней нормы. Но отмеченная выше «безграничность потребностей и их спо­собность к расширению» то и дело проявляется не только выходом за пределы средней нормы, но и ломкой суще­ствующих в данной культуре норм.

Хорошо упроченные нормы становятся привычкой, «второй натурой» и в определенный момент перестают контролироваться сознанием, переходят в сферу подсозна­ния. Человеку уже не надо задумываться о том, как ему следует поступить в том или ином случае. Глубоко усво­енная норма делает его поведение автоматическим, ин­стинктивным, хотя, разумеется, ни о каком инстинкте в строгом смысле здесь говорить нельзя, поскольку «ин­стинктивное» значит «врожденное». Инстинкты не осоз­наются изначально и потому не могут быть отнесены к подсознанию. Нормы усваиваются в процессе воспита­ния, их неосознаваемость исторически вторична и при­надлежит подсознанию.

Впрочем, говорить о неосознаваемом психическом бес­смысленно и непродуктивно до тех пор, пока мы не да­дим более или менее четкого определения тому, что по­нимается под термином «сознание». Из всех существую­щих определений наиболее адекватным контексту обсуждаемой проблемы нам представляется такое, где со­знание определяется как знание, которое с помощью речи, музыки, изобразительного искусства может быть пе­редано, может стать достоянием других членов общества. Сознание — это знание вместе с кем-то (сравните с со­чувствием, сопереживанием, сотрудничеством и т. п.). Осознать — значит приобрести потенциальную возмож­ность сообщить, передать свое знание другому. Заметим, что на практике только таким способом врач решает во­прос о том, находится ли в сознании его пациент, нор­мально ли это сознание или патологически изменено. Других путей диагностики состояния сферы сознания в настоящее время не существует. Согласно современным данным, для осознания внешнего стимула необходима связь гностических зон новой коры большого мозга с мо­торной речевой областью в левом (у правшей) полуша­рии. Труды А. Р. Лурии, открытие Г. В. Гершуни класса неосознаваемых условных реакций, исследования Р. Сперри пациентов с расщепленным мозгом, увенчанные Но­белевской премией, и последовавшие затем серии работ, в том числе Э. А. Костандова, В. Л. Деглина, Н. Н. Бра­гиной, Т. А. Доброхотовой и др., ознаменовали суще­ственный прогресс в изучении нейрофизиологических ос­нов сознания человека[[52]](#footnote-53).

Данное выше определение позволяет однозначно про­вести грань между осознаваемым и неосознаваемым в деятельности мозга. Если человек перечисляет детали предъявленной ему сюжетной картинки, а спустя опре­деленное время называет фрагменты, отсутствовавшие в первом отчете, мы имеем все основания говорить о на­личии неосознаваемого восприятия и непроизвольной памяти, т. е. о следах, лишь позднее проникающих в сферу сознания. Если тысячелетний опыт человечества побуждает отличать военную науку от военного искус­ства, то мы понимаем, что в военном деле существует нечто, чему можно научить, что можно сформулировать в виде правил, наряду с тем, чему научить в принципе невозможно. Разумеется, военное искусство, как всякое иное искусство, располагает своей технологией, зависит от ранее накопленного опыта и навыков, позволяющих использовать этот опыт наиболее эффективным образом. Вместе с тем в искусстве полководца присутствует тот элемент, который невозможно формализовать и передать другому в виде рационально обоснованного решения, по­скольку осознается только само это решение, т. е. конеч­ный результат творческого процесса.

В обширной сфере неосознаваемого психического не­обходимо различать минимум две группы явлений. К пер­вой принадлежит все то, что *было осознаваемым* или может стать осознаваемым в определенных условиях. К этой группе прежде всего относятся хорошо автомати­зированные и потому переставшие осознаваться навыки и вытесненные из сферы сознания мотивационные кон­фликты, суть которых становится ясна только благодаря специальным усилиям врача-психотерапевта[[53]](#footnote-54). За этим классом явлений целесообразно сохранить традиционный термин «*подсознание*».

В сферу подсознания входят и глубоко усвоенные субъектом социальные нормы, регулирующая функция которых переживается как «голос совести», «зов сердца», «веления долга». Важно подчеркнуть, что ассимиляция внутренним миром субъекта внешних по своему проис­хождению социальных норм придает этим нормам ту чрезвычайную императивность, которой они не обладали ранее. Межличностное происхождение совести закреплено в самом названии феномена: со-весть, т. е. весть, в кото­рой незримо присутствует некто иной или иные, помимо меня посвященные в содержание данной «вести». Не­трудно видеть, что «Сверх-Я» Зигмунда Фрейда, безус­ловно отличное от биологических влечений, целиком при­надлежит сфере подсознания и не может рассматриваться как аналог сверхсознания, о котором подробнее речь пой­дет ниже[[54]](#footnote-55).

К подсознанию мы относим и те проявления интуи­ции, которые не связаны с порождением новой информа­ции, но предполагают лишь использование ранее накоп­ленного опыта. Когда знаменитый клиницист, мельком взглянув на больного, ставит правильный диагноз, он нередко сам не может объяснить, какие именно внешние признаки болезни побудили его прийти к такому заклю­чению. В данном случае, он ничем не отличается от пианиста, давно забывшего, как именно следует дей­ствовать тем или иным пальцем. Заключением врача, как и действиями пианиста, руководит подсознание.

Подчеркнем, что ранее осознававшийся жизненный опыт, будь то система двигательных навыков, знание симптомов тех или иных заболеваний, нормы поведения, принятые в данной социальной среде, и т. д., представ­ляет собой отнюдь не единственный канал, наполняю­щий подсознание конкретным, внешним по своему про­исхождению содержанием. Имеется и прямой путь, минующий рациональный контроль сознания. Это — меха­низмы имитационного поведения. Именно прямое воздей­ствие на подсознание приводит к тому, что пример взрослых и сверстников из непосредственного окружения ребенка нередко формирует его личность в большей мере, чем адресующиеся к интеллекту разъяснения полезности и социальной ценности того или иного поступка.

В процессе длительной эволюции подсознание воз­никло как средство защиты сознания от лишней работы и непереносимых нагрузок. Идет ли речь о двигательных навыках пианиста, шофера, спортсмена и т. д., которые с успехом могут реализоваться без вмешательства созна­ния, или о тягостном для субъекта мотивационном кон­фликте, подсознание освобождает сознание от стрессирующих перегрузок. Поясним сказанное примером, кото­рый мы заимствуем в одной из работ И. С. Кона. Чело­век завидует другому, но сознает, что чувство зависти унизительно и постыдно. И тогда он бессознательно на­чинает искать те отрицательные черты, действительные и мнимые, которые могли бы оправдать его недоброже­лательное отношение. Он искренне верит, что его не­приязнь вызвана именно недостатками другого, хотя на самом деле единственная причина недоброжелательно­сти — зависть.

Подсознание всегда стоит на страже добытого и хо­рошо усвоенного, будь то автоматизированный навык или социальная норма. Консерватизм подсознания — одна из наиболее характерных черт. Благодаря подсознанию, ин­дивидуально усвоенное (условнорефлекторное) приобре­тает императивность и жесткость, присущие безусловным рефлексам. Отсюда возникает иллюзия врожденности не­которых проявлений неосознаваемого, например иллюзия врожденности грамматических структур, усвоенных ре­бенком путем имитации задолго до того, когда он осо­знает эти правила на школьных уроках родного языка. Сходство подсознательного с врожденным получило отра­жение даже в житейском лексиконе, породив метафоры типа «классовый инстинкт», «голос крови» и тому подоб­ные образные выражения.

Теперь мы перейдем к анализу второй разновидности неосознаваемого психического, которую в отличие от под­сознания и вслед за К. С. Станиславским можно назвать сверхсознанием, или надсознанием — по терминологии М. Г. Ярошевского[[55]](#footnote-56). Мы будем пользоваться термином «сверхсознание», поскольку он непосредственно связан с творчеством, с представлениями Станиславского о сверх­задаче и сверх-сверхзадаче творческого процесса. Именно этот термин был использован нами в ранее опубликован­ных работах[[56]](#footnote-57).

Функционирование сверхсознания, порождающего но­вую, ранее не существовавшую информацию путем ре­комбинации следов полученных извне впечатлений, не контролируется осознанным волевым усилием: на суд сознания подаются только результаты этой деятельно­сти[[57]](#footnote-58). К сфере сверхсознания относятся первоначальные этапы всякого творчества — порождение гипотез, догадок, творческих озарений. Если подсознание защищает со­знание от излишней работы и психических перегрузок, то неосознаваемость творческой интуиции есть *защита от пре­ждевременного вмешательства сознания*, от чрезмерного давления ранее накопленного опыта. Не будь этой за­щиты, здравый смысл, очевидность непосредственно на­блюдаемого, догматизм прочно усвоенных норм ду­шили бы «гадкого утенка» (смелую гипотезу, оригиналь­ный замысел и т. п.) в момент его рождения, не дав ему превратиться в «прекрасного лебедя» будущих откры­тий. Вот почему за дискурсивным мышлением оставлены важнейшие функции формулировки проблемы и поста­новки ее перед познающим умом, а также вторичный отбор порождаемых сверхсознанием гипотез, сперва пу­тем их логической оценки, а затем в горнило эксперимен­тальной, производственной и общественной практики.

В настоящее время можно считать установленным, что сверхсознание (творческая интуиция) всегда «работает» на удовлетворение потребности, устойчиво доминирую­щей в иерархии мотивов данного субъекта. Так, карье­рист, жаждущий социального успеха, может быть гениа­лен в построении своей карьеры, но вряд ли подарит миру научные открытия и художественные шедевры. Здесь не следует впадать в дурную «одномерность». Ве­ликий художник (или ученый) может быть достаточно честолюбив, скуп, играть на бегах и в карты. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Важно лишь, чтобы в определенные моменты бескорыстная потребность по­знания истины и правды безраздельно овладевала всем его существом. Именно в эти моменты доминирующая потребность включит механизмы сверхсознания и при­ведет к результатам, не достижимым никаким иным рациональным способом. «Пока не требует поэта к свя­щенной жертве Аполлон...» — А. С. Пушкин гениально угадал эту диалектику деятельности сверхсознания.

Подобно тому как имитационное поведение способно адресоваться к подсознанию, минуя контроль рациональ­ного мышления, важнейшим средством тренировки и обогащения сверхсознания является детская игра. Будучи свободна от достижения утилитарных, а до определенного возраста — и социально престижных целей, игра обла­дает той самоцельностью и самоценностью, которые на­правляют ее на решение бескорыстно-творческих задач. Детская игра мотивируется почти исключительно потреб­ностями познания и вооруженности — под последней мы понимаем потребность приобретения знаний, навыков и умений, которые понадобятся лишь в дальнейшем. Именно эти две потребности — познание и вооружен­ность — питают деятельность детского сверхсознания, де­лая каждого ребенка фантазером, первооткрывателем и творцом. По мере взросления потребности познания все чаще приходится конкурировать с витальными и соци­альными потребностями, а сверхсознанию — отвлекаться на обслуживание широкого спектра самых разнообразных мотиваций. Не случайно подлинно великие умы характе­ризуются сохранением отдельных черт детскости, что было замечено давно и не один раз.

В своей недавно вышедшей книге Е. Л. Фейнберг подробно рассмотрел отличия интуиции-догадки (порож­дение гипотез) от интуиции — прямого усмотрения ис­тины, не требующего формально-логических доказа­тельств[[58]](#footnote-59). Примером интуиции последнего типа может служить заключение ученого о достаточности эксперимен­тов или заключение судьи о достаточности объективных доказательств виновности. Напомним, что закон требует от судьи выносить приговор согласно «внутреннему убеж­дению», не предписывая заранее то или иное количество доказательств. Не случайно в законе наряду с дискур­сивной «буквой» присутствует интуитивный «дух». Мы полагаем, что в генезе двух разновидностей интуиции есть нечто принципиально общее, а именно: дефицит инфор­мации, необходимой и достаточной для логически безуп­речного заключения. В первом случае (интуиция-до­гадка) этой информации *еще нет*, ее предстоит найти в ходе проверки возникающего предположения. В случае с интуицией — прямым усмотрением истины получить такую информацию *вообще невозможно*, какое количество экспериментов ни поставил бы ученый и какое количе­ство доказательств ни собрал бы судья. Для нас важно, что пример с интуицией — усмотрением истины еще раз оправдывает термин «сверхсознание». В самом деле, дис­курсивное мышление поставляет материал для принятия решения, предлагает сознанию реестр формализуемых до­казательств, но *окончательное решение* принимается на уровне интуиции и формализовано быть не может.

Материал для своей рекомбинационной деятельности сверхсознание черпает и в осознаваемом опыте, и в ре­зервах подсознания. Тем не менее в сверхсознании со­держится нечто именно «сверх», т. е. нечто большее, чем сфера собственно сознания. Это «сверх» есть принципи­ально новая информация, непосредственно не вытекаю­щая из ранее накопленных впечатлений.

Неполное, лишь "частичное осознание человеком дви­жущих им потребностей снимает мнимое противоречие между объективной детерминированностью человеческого поведения и субъективно ощущаемой свободой выбора. Эту диалектику поведения в свое время проницательно разглядел Бенедикт Спиноза. Люди лишь по той причине считают себя свободными, писал Спиноза, что свои по­ступки они сознают, а причин, их вызвавших, не знают. Поведение человека детерминировано его наследствен­ными задатками и условиями окружающей среды, в пер­вую очередь — условиями социального воспитания. Науке неизвестен какой-либо третий фактор, способный по­влиять на выбор совершаемого поступка. Вместе с тем вся этика и, прежде всего — принцип личной ответствен­ности, базируется, как объяснил нам Гегель, на безус­ловном признании абсолютно свободной воли. Отказ от признания свободы выбора означал бы крушение любой этической системы и нравственности.

Вот почему эволюция породила *иллюзию* этой свободы, упрятав от сознания человека движущие им мотивы. Субъективно ощущаемая свобода и вытекающая из нее личная ответственность включает механизмы всесторон­него и повторного анализа последствий того или иного поступка, что делает окончательный выбор более обосно­ванным[[59]](#footnote-60). Дело в том, что *практическая* мотивационная доминанта, непосредственно определяющая поступок («вектор поведения» — по А. А. Ухтомскому), представляет интеграл главенствующей потребности, устойчиво доминирующей в иерархии мотивов данной личности (*до­минанта жизни*, или сверх-сверхзадача — по К. С. Стани­славскому), и той или иной *ситуативной* доминанты, актуализированной экстренно сложившейся обстановкой. Например, реальная опасность для жизни актуализирует ситуативную доминанту — потребность самосохранения, удовлетворение которой нередко оказывается в конфликте с доминантой жизни — социально детерминированной потребностью соответствовать определенным этическим эталонам. Сознание (как правило, с участием подсозна­ния) извлечет из памяти и мысленно «проиграет» по­следствия тех или иных действий субъекта. Кроме того, в борьбу мотивов окажутся вовлечены механизмы воли — потребность преодоления преграды на пути к достиже­нию главенствующей цели, причем преградой в данном случае окажется инстинкт самосохранения. Каждая из этих потребностей породит свой ряд эмоций, конкуренция которых будет переживаться субъектом как борьба между естественным для человека страхом и чувством долга, стыдом при мысли о возможном малодушии и т. и. Ре­зультатом подобной конкуренции мотивов и явится либо бегство, либо стойкость и мужество.

В данном примере нам важно подчеркнуть, что мысль о личной ответственности и личной свободе выбора тор­мозит импульсивные действия под влиянием сиюминутно сложившейся обстановки, дает выигрыш во времени для оценки возможных последствий этого действия и тем са­мым ведет к *усилению главенствующей потребности*, ко­торая оказывается способной противостоять ситуативной доминанте страха.

Таким образом, не сознание само по себе и не воля сама по себе определяют тот или иной поступок, а их способность усилить или ослабить ту или иную из кон­курирующих потребностей. Это усиление реализуется через механизм эмоций, которые, как было показапо нами ранее, зависят не только от величипы потребности, по и от оценки вероятности (возможности) ее удовлетворе­ния. Ставшая доминирующей потребность (практическая доминанта) направит деятельность интуиции (сверхсоз­нания) на поиск оптимального творческого решения проблемы, на поиск такого выхода из сложившейся си­туации, который соответствовал бы удовлетворению этой Доминирующей потребности. Тщательный анализ воен­ных мемуаров выдающихся летчиков Отечественной войны показывает, что виртуозное боевое мастерство с принятием мгновенных и неожиданных для противника решений человек проявляет при равной степени профес-. сиональпой квалификации (запасе навыков) не в состоя­нии страха (потребность самосохранения) и не в состоя­нии ярости (потребность сокрушить врага любой ценой), а в *эмоционально положительном* состоянии боевого азарта, своеобразной «игры с противником», т. е. при наличии компонентов идеальной потребности творчески-познавательного характера, сколь бы странной она ни казалась в условиях борьбы не на жизнь, а на смерть.

Если главенствующая потребность (доминанта жизни) настолько сильна, что способна автоматически подавить ситуативные доминанты, то она сразу же мобилизует ре­зервы подсознания и направляет деятельность сверхсоз­нания на свое удовлетворение. Борьба мотивов здесь фак­тически отсутствует, и главенствующая потребность не­посредственно трансформируется в практическую доминанту. Примерами подобной трансформации могут служить многочисленные случаи самопожертвования и героизма, когда человек не задумываясь бросается на по­мощь другому. Как правило, мы встречаемся здесь с явным доминированием потребностей «для других», будь то «биологический» родительский инстинкт или альтруизм более сложного социального происхождения.

Формирование практической доминанты может ока­заться тяжкой задачей для субъекта, когда главенствую­щая и ситуативная доминаты примерно равны по силе и находятся в конфликтных отношениях. Такого рода конфликты лежат в основе многих произведений класси­ческой литературы. С другой стороны, отсутствие практи­ческой доминанты (у пенсионера, у человека, оказавше­гося не у дел) переживается отдельными личностями исключительно тяжело. Не менее печально по своим по­следствиям отсутствие главенствующей потребности (до­минанты жизни), в результате чего человек становится игрушкой ситуативных доминант. «Отклоняющееся» по­ведение подростков, алкоголизм и наркомания дают мно­жество примеров такого рода. Подчеркнем, что человек, как правило, не осознает подлинной причины тягостного для него состояния, давая самые разнообразные объясне­ния своему бесцельному и пустому времяпрепровож­дению.

Мы закончим раздел краткой формулировкой не­скольких итоговых положений.

1) Высшая нервная (психическая) деятельность человека имеет трехуровневую структуру, включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание.

Сознание оперирует знанием, которое потенциально может быть передано другому, может стать достоянием других членов сообщества. Как показали многочисленные исследования функциональной асимметрии головного мозга, для осознания внешних стимулов или событий внутренней жизни субъекта необходимо участие речевых зон больших полушарий. В сфере творчества именно со­знание формулирует вопрос, подлежащий разрешению, и ставит его перед познающим действительность умом.

К сфере подсознания относится все то, что было осо­знаваемым или может стать осознаваемым в определен­ных условиях. Это — хорошо автоматизированные навыки, глубоко усвоенные социальные нормы и мотивационные конфликты, тягостные для субъекта. Подсозна­ние защищает сознание от излишней работы и психиче­ских перегрузок.

Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) обнаруживается в виде первоначальных этапов творче­ства, которые не контролируются сознанием и волей. Неосознаваемость этих этапов представляет защиту рож­дающихся гипотез от консерватизма сознания, от чрез­мерного давления ранее накопленного опыта. За созна­нием остается функция отбора этих гипотез путем их логического анализа и с помощью критерия практики в широком смысле слова. Нейрофизиологическую основу сверхсознания представляет трансформация и рекомбина­ция следов (энграмм), хранящихся в памяти субъекта, первичное замыкание новых временных связей, чье соот­ветствие или несоответствие действительности выясня­ется лишь в дальнейшем.

2. Неполное осознание субъектом движущих им потребностей снимает мнимое противоречие между *объективной* детерминированностью поведения человека на-
следственными задатками, условиями воспитания, окружающей средой и *субъективно* ощущаемой им свободой выбора. Эта иллюзия свободы является чрезвычайно ценным приобретением, поскольку обеспечивает чувство личной ответственности, побуждающее всесторонне анализировать и прогнозировать возможные последствия того или иного поступка. Мобилизация из резервов памяти такого рода информации ведет к усилению потребности, устойчиво главенствующей в иерархии мотивов данной личности, благодаря чему она обретает способность про­тивостоять ситуативным доминатам, т. е. потребностям, экстренно актуализированным сложившейся обстановкой.

Вопрос о том, свободен или не свободен человек в своем выборе, не имеет однозначного ответа и требует введения принципа дополнительности. Выбор детерминировал (следовательно, человек несвободен) с точки зре­ния внешнего наблюдателя совершаемых субъектом по­ступков. Вместе с тем и в то же самое время человек свободен с позиций «внутреннего наблюдателя» — его рефлектирующего сознания, что и порождает чувство личной ответственности за совершаемый поступок.

3) Сведение психической деятельности человека к од­ному лишь сознанию не в состоянии объяснить ни диа­лектику детерминизма и свободы выбора, ни механизмы творчества, ни подлинную историю культуры. Только признание важнейших функций неосознаваемого психи­ческого, с выделением в нем принципиально различных феноменов под- и сверхсознания дает возможность есте­ственнонаучного материалистического ответа на самые жгучие вопросы человековедения.

4) Взаимодействие сверхсознания с сознанием есть проявление на уровне творческой деятельности человека универсального принципа возникновения нового в про­цессе биологической и культурной эволюции. Подобно тому как эволюционирующая популяция рождает новое через отбор отдельных особей, эволюция культуры насле­дует в ряду сменяющихся поколений идеи, открытия и социальные нормы, первоначально сформулированные конкретными первооткрывателями и творцами. Эти нормы являются исторически преходящей категорией, а культура в целом представляет не закостеневший свод одних и тех же предписаний, но живую и развиваю­щуюся систему. Мы не раз подчеркивали, что процесс развития культуры определяется взаимодействием мно­жества факторов — производственно-экономических, по­литических, идеологических, национальных. Творцом культуры в конечном счете является живой, реальный человек с головой и руками, поскольку «История» но есть какая-то особая личность, которая пользуется чело­веком как средством для достижения *своих* целей. Исто­рия — *не что иное*, как деятельность преследующего свои цели человека»[[60]](#footnote-61). Значит, возникновение новых норм удовлетворения потребностей, новых способов, средств и путей есть результат творческой деятельности конкрет­ных личностей. Благодаря этой творческой деятельности наряду с ростом и расширением потребностей происходит их «*возвышение*»[[61]](#footnote-62).

# ВОЗВЫШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

*Сама природа является действительной частью*

*истории природы, становления природы чело­веком.*

К. Маркс[[62]](#footnote-63)

Справедливо подчеркивая культурно-историческое происхождение психики человека, мы подчас недооцени­ваем принцип историзма. Протест против вульгарной биологизации оборачивается чрезмерным социологизмом, в результате чего жизнь человеческих существ как бы вырывается из общей истории развития живого на на­шей планете. Вместе с тем наука уже не раз встречалась с рядом универсальных принципов, которые обнару­живаются и в деятельности высших, социальных форм существования живой природы, и на дочеловеческих эта­пах эволюции. Назовем в качестве примера принцип об­ратной связи или категорию потребности как основы и движущей силы поведения любых живых систем, вклю­чая потребности существования и развития человеческих сообществ.

Нам представляется, что к числу таких универсаль­ных принципов относятся и общие правила возникнове­ния нового, ранее не существовавшего, независимо от того, идет ли речь о появлении новых форм живых су­ществ в процессе биологической эволюции или о принци­пиально новых достижениях творческой деятельности человека в виде научных открытий, технологии, произ­ведений искусства, этических норм и т. п. «Природой творчества является творчество природы» (*Б. М. Рунин*)[[63]](#footnote-64).

Сразу же подчеркнем, что констатация черт сходства биологической эволюции с творческой деятельностью мозга ни в коей мере не означает сведения социально детерминированной психики человека к биологии, равно как и переноса законов психики на процесс биологиче­ской эволюции. Речь идет о наличии общих закономерно­стей, которые проявляют себя на различных уровнях пер­воначально биологического, а затем культурного раз­вития живой природы, включающей общественного чело­века. Ведь, когда мы обнаруживаем универсальный принцип обратной связи в регуляции физиологических (даже биохимических!) процессов и в управлении обще­ственным производством, мы отнюдь не «сводим» это про­изводство к схемам регуляции кровяного давления, равно как и не «распространяем» принципы социального управления на физиологию. Надеемся, что это положе­ние больше не требует дополнительных разъяснений.

Мысль о сходстве процесса возникновения новых форм живых существ («творчества природы») с творче­ской деятельностью мозга высказывали многие, в том числе К. А. Тимирязев[[64]](#footnote-65). Значение вторичного отбора временных нервных связей путем их сопоставления с действительностью подчеркнул И. П. Павлов, обсуждая механизм первой стадии выработки пищевого условного рефлекса, где в качестве сигнала был использован звуко­вой раздражитель — тон. «Когда связь с этими другими тонами действительно не оправдывается, — разъяснял Павлов, — тогда присоединяется процесс торможения. Та­ким образом, реальная связь ваша становится все точнее и точнее. Таковым является и процесс научной мысли. Все навыки научной мысли заключаются в том, чтобы, во-первых, получить более постоянную и более точную связь, а во-вторых, откинуть потом связи случайные»[[65]](#footnote-66).

В свете этого высказывания И. П. Павлова представ­ляется совершенно необоснованным предложение Карла Поппера «заменить» теорию условных рефлексов теорией формировании гипотез и их последующей проверки (се­лекции). «Я полагаю, — пишет Поппер, — что организм не ждет пассивно повторения события (или двух), чтобы запечатлеть или зарегистрировать в памяти существова­ние закономерной связи. Скорее организм пытается на­вязать миру догадку о закономерности... Не ожидая повторения событий, мы создаем догадки, без ожидания предпосылок мы делаем заключения. Они могут быть отброшены. Если мы не отбросим их вовремя, мы можем быть устранены вместе с ними. Эту теорию активного предложения догадок и их опровержения (разновидность естественного отбора) я предлагаю поместить на место теории условного рефлекса...»[[66]](#footnote-67). В ходе дальнейшего из­ложения мы постараемся показать, что генерирование гипотез и их отбор представляют необходимые и взаимо­дополняющие моменты высшей нервной деятельности. Их физиологической основой являются в первую очередь принцип доминанты, открытый А. А. Ухтомским, и услов­ный рефлекс И. П. Павлова.

В сущности, творческая деятельность человека есть проявление на качественно новом уровне универсальных тенденций самосохранения и саморазвития живой при­роды, будь то все более полное и специализированное освоение ранее занятой зоны (аллогенез в биологической эволюции) или выход в новую зону (арогенез). Эти две основные формы филогенеза напоминают две разновид­ности творчески-познавательной деятельности человека: мы имеем в виду детальную разработку более или менее знакомых явлений наряду с «прорывом» познающей мысли в качественно новую сферу познаваемой действи­тельности.

Процесс развития требует накопления новой ценной информации, причем под ценностью информации мы, вслед за А. А. Харкевичем, будем понимать возрастание вероятности достижения цели (удовлетворения потребно­сти), благодаря получению данного сообщения[[67]](#footnote-68). «Входе биологического развития, — пишет М. В. Волькенштейн, — возрастает не только ценность информации, на­личествующей в организме, но и способность биологиче­ских систем к отбору ценной информации... Отбор ценной информации лежит в основе всей творческой деятель­ности человека»[[68]](#footnote-69). Эта ценная информация может быть либо выделена из маскирующих ее «шумов» (обнаруже­ние объективно существовавшей, но ранее не познанной закономерности), либо создана заново в виде «второй природы» — произведений искусства, технических соору­жений и т. п.

Подчеркнем, что и в случае приобретения цепной ин­формации путем ее извлечения из шума включается ме­ханизм выдвижения гипотез, т. е. таких рекомбинаций ранее накопленного опыта, соответствие которых действи­тельности должно быть установлено в ходе дальнейшей про­верки. Жизнь показывает, что такой механизм значи­тельно ускоряет процесс познания по сравнению с выделе­нием информации из шума путем чисто статистического накопления полезных сигналов. «Формой развития есте­ствознания, — утверждал Энгельс, — поскольку оно мыс­лит, является *гипотеза*... Если бы мы захотели ждать, пока материал будет готов *в чистом виде* для закона, то это значило бы приостановить до тех пор мыслящее иссле­дование, и уже по одному этому мы никогда не полу­чили бы закона»[[69]](#footnote-70).

Говорить о сходных чертах органической эволюции («творчества природы») и творческой деятельности че­ловека можно только в том случае, если в динамике твор­чества мы обнаружим аналоги основных компонентов эво­люционного развития, а именно: 1) эволюционирующую популяцию; 2) изменчивость, ценность которой выясня­ется лишь вторично; 3) отбор; 4) фиксирование резуль­татов этого отбора. Мы полагаем, что такие аналоги суще­ствуют.

Напомним, что, хоти элементарной единицей эволюции является популяция, а не отдельная особь, отбор дей­ствует только на уровне особей. В сфере творческой дея­тельности человека эволюционирует его опыт, неизбежно включающий в себя присвоенный субъектом опыт других людей, в том числе опыт предшествующих поколений. Однако этот коллективный опыт, совокупность знаний, умений, технологии, этических и эстетических норм, т. е. культура в целом, пополняется открытиями и достиже­ниями, первоначально возникающими не в абстрактной «культуре», а в конкретной индивидуальной голове тво­рящего субъекта.

Под изменчивостью мы будем понимать такие транс­формации хранящихся в памяти следов (энграмм), такие их рекомбинации, такое ассоциирование этих следов, чье соответствие или несоответствие объективной действитель­ности устанавливается лишь позднее. Подобные вариации следов ранее полученных впечатлений мы назвали в I960 г. «психическими мутациями», хотя, возможно, их правильнее аналогизировать с рекомбинацией генов[[70]](#footnote-71). В дальнейшем изложении мы будем употреблять выраже­ние «психическая мутация» как обозначение любой моди­фикации хранящихся в памяти энграмм, чья ценность и адекватность реальной действительности подлежат выяс­нению. В случае установления подобной адекватности пси­хическая мутация оказывается объективно верным отра­жением действительности, хотя это отражение и носит вторичный по сравнению с рекомбинированной памятью характер.

Отбор модифицированных и рекомбинированных эн­грамм (догадок, гипотез, предположений) осуществляется в несколько этапов. Вначале он производится путем со­поставления с непосредственным опытом субъекта, а за­тем вступает в действие критерий общественной практики, в ходе которой уточняются истинность нового знания и его ценность, т. е. способность служить удовлетворению каких-либо человеческих потребностей — биологических, социальных или идеальных.

Результаты отбора фиксируются в памяти субъекта и передаются другим людям — как современникам, так и представителям следующих поколений.

Сигнальное (не зафиксированное в генах) наследо­вание существует уже у животных в виде, например, обу­чения приемам охоты или мелодии пения у некоторых птиц. Но подлинное культурное (или социальное) насле­дование присуще только человеку, благодаря наличию у него второй (речевой) сигнальной системы действи­тельности. «Культурное наследие или унаследование тра­диций, — пишет эволюционист В. Грант, — это вся сово­купность знаний, представлений, искусств, обычаев и тех­нологических навыков, которыми располагает данное че­ловеческое сообщество в любой данный момент своей истории. Вся эта сумма знаний и традиций — результат открытий и изобретений, сделанных предшествующими поколениями. Она передается и будет передаваться из поколения в поколение путем обучения в широком смысле этого слова»[[71]](#footnote-72).

Теперь, когда мы уточнили содержание используемых понятий, рассмотрим более детально основные этапы творческой деятельности, сопоставляя их с ключевыми поло­жениями эволюционной теории.

*Изменчивость*. Применительно к творческой деятель­ности мозга можно сказать, что динамическим фактором, инициирующим и побуждающим генерирование психиче­ских мутаций, является сила актуализированной потреб­ности (мотивации), а факторами, вероятностно детерми­нирующими («канализирующими») содержание мута­ций, — качество этой потребности и вооруженность тво­рящего субъекта запасом навыков и знаний.

Экспериментально показано, что при демонстрации че­ловеку неопределенных зрительных стимулов количество стимулов, ассоциируемых с нищей, нарастает по мере усиления голода. Это правило справедливо не только для биологических потребностей типа голода или жажды, но имеет универсальный характер: непосредственно не кон­тролируемая сознанием интуиция всегда работает па по­требность, доминирующую в иерархии потребностей дан­ной личности. Зависимость интуиции от главенствующей потребности (материальной, социальной, познавательной и т. д.), устойчиво доминирующей в системе мотивов дан­ного субъекта, необходимо учитывать в сфере профессио­нального отбора и практики воспитания. Без выражен­ной потребности познания (ньютоновского «терпения ду­мать об одном и том же») трудно рассчитывать па про­дуктивную деятельность в науке. Если решение научной проблемы является для субъекта лишь средством для достижения каких-то иных (например, социально пре­стижных) целей, его интуиция будет генерировать гипо­тезы и идеи, связанные с удовлетворением соответству­ющих потребностей. Шанс на принципиально повое на­учное открытие в этом случае сравнительно невелик.

Ярким примером «канализации» психических мутаций актуальной потребностью могут служить сновидения. И. П. Павлов считал сновидения результатом хаотиче­ской, бессистемной деятельности больших полушарий го­ловного мозга, т. е. совершенно случайными комбинациями нервных следов. Для 3. Фрейда сновидения были вполне упорядоченным сообщением о вытесненных в подсозна­ние неудовлетворенных влечениях и конфликтах, только сообщением, зашифрованным особым символическим ко­дом. Зная код, можно прочесть содержание сновидения, как любой другой текст. По-видимому, обе точки зрения неверны. Скорее всего, содержание сновидений лишь *ве­роятностно* определяется характером мотивационной доминанты, сообщающей содержательной стороне сновидений некоторую тенденцию, направление, в рамках кото­рого следы комбинируются и варьируются достаточно случайно.

Может вызвать удивление тот факт, что человек дли­тельное время сохраняет в памяти и передает другим лю­дям психические мутации, соответствие которых действи­тельности не только не получило подтверждения, по под­час весьма сомнительно. Мы имеем в виду «вещие» сны, предрассудки и заблуждения. Длительное сохранение та­кого рода мутаций в значительной мере определяется их социальным отбором, о чем специально речь пойдет ниже. Вместе с тем подобная живучесть напоминает биологиче­ский феномен конвариантной редупликации, т. е. насле­дование мутаций, их передачу следующим поколениям. По аналогии с этим феноменом длительное сохранение психических мутаций не только в памяти отдельного субъ­екта, но и в общем фонде культурного наследия имеет свою положительную сторону. Ведь иногда окончательная проверка жизнеспособности «безумной идеи», ее соответ­ствия или несоответствия действительности требует до­статочно продолжительного времени. Вот почему наряду с апробированными знаниями в общий объем интеллек­туальных накоплений включаются и гипотезы, отверга­емые современниками.

Вторым фактором, канализирующим содержание пси­хических мутаций, является вооруженность субъекта зна­ниями, навыками, впечатлениями и т. д. Совершенно оче­видно, что гипотеза, приведшая к открытию периодиче­ского закона, не могла возникнуть у человека, не обла­давшего знанием химических свойств и атомного веса элементов, хотя сам по себе этот запас знаний не гаран­тирует рождения гипотезы.

При крайней ограниченности наших знаний о нейро­физиологических основах творческой деятельности мозга можно указать па отдельные факты, заслуживающие внимания и дальнейшей разработки.

Большую роль здесь несомненно играет правое (у правшей) неречевое полушарие мозга, связанное с опе­рированием чувственно непосредственными образами, с музыкальными и комбинаторными способностями. Свой­ство сновидений заменять абстрактные понятия конкрет­ными (зрительными, слуховыми и т. д.) образами[[72]](#footnote-73) интересно сопоставить с наблюдениями исследователей твор­чества, показавшими, что в процессе обдумывания какой-либо теоретической проблемы ученые нередко склонны временно заменять отвлеченные понятия их чув­ственно наглядными моделями. «На первой стадии рож­дения новой идеи, — пишет математик Ж. Адамар,— многие используют расплывчатые образы, а не мышление в словах и точных алгебраических знаках»[[73]](#footnote-74). С этим на­блюдением согласен психолингвист Р. Якобсон: «... внут­ренняя мысль, особенно когда это мысль творческая, охотно использует другие системы знаков, более гибкие и менее стандартизированные, чем речь, и которые остав­ляют больше свободы, подвижности творческой мысли»[[74]](#footnote-75). Отмеченное нами сходство сновидений с творческим актом отнюдь не означает, что открытия делаются во сне: еди­ничные случаи таких открытий — скорее исключение, чем правило. Например, 69 опрошенных математиков сооб­щили, что они никогда не видели математических снов[[75]](#footnote-76).

Принципиально важным для понимания нейрофизио­логических основ творчества является механизм доми­нанты, описанный А. А. Ухтомским, способность доми­нантного очага возбуждения придавать явлениям действи­тельности и их следам объективно не присущее им значение, например значение сигналов опасности, како­выми на самом деле они не являются. Нейрофизиологиче­ские механизмы доминанты практически совпадают с пер­воначальной стадией генерализации условного рефлекса, о которой говорил Павлов в приведенном нами высказыва­нии[[76]](#footnote-77). В случае затруднений с удовлетворением какой-либо потребности по мере роста эмоционального напря­жения нередко наблюдается феномен вторичной генера­лизации, т. е. обратный переход узкоспециализированного условного рефлекса в доминантное состояние. С этим фе­номеном мы познакомились па примере пищевых ассоциа­ций у голодного наблюдателя. Вторичная генерализация, столь характерная для деятельности эмоционально воз­бужденного мозга, напоминает дестабилизирующее влияние эмоционального стресса в процессе эволюции. По мне­нию Д. К. Беляева, эмоциональный стресс усиливает раз­нообразие, с которым оперирует естественный отбор, и тем самым ускоряет эволюцию[[77]](#footnote-78).

Длительно сохраняющийся, устойчивый очаг возбуж­дения может привести к повышенному содержанию в тка­нях мозга норадреналина, который в свою очередь спо­собен повысить чувствительность синаптических мембран нервных клеток к ацетилхолину. В результате произойдет замыкание временных нервных связей — не благодаря сочетанному во времени действию внешних стимулов, а пер­вично, «изнутри». Другой возможный механизм первич­ного замыкания предположил А. И. Ройтбак[[78]](#footnote-79). Мощный очаг возбуждения будет сопровождаться накоплением меж­клеточного калия, под влиянием которого активируется миелинизация аксонных окончаний, и ранее неэффектив­ные синапсы станут эффективными. Таким образом, ги­потеза о возможности первичного замыкания временных нервных связей в принципе не противоречит данным со­временной нейрофизиологии.

Для психофизиологии творчества важны и функции гиппокампа — отдела мозга, регулирующего поток инфор­мации, извлекаемой из памяти. Структуры гиппокампа обладают высокой чувствительностью к действию химиче­ских галлюциногенов с характерными для них причудли­выми сочетаниями зрительных и слуховых образов. Весьма вероятно, что именно на уровне гиппокампа мотивационное возбуждение оказывает влияние на количество и ка­чество извлекаемых из памяти энграмм, участвуя в фор­мировании сновидений, а в состоянии бодрствования — в генерировании психических мутаций. Не случайно ли­шение так называемого быстрого сна сказывается у людей на решении творческих задач типа теста Роршиха, а доля быстрого сна у спящего человека возрастает в ситуациях, требующих творческого подхода к решению стоящих пе­ред человеком проблем и мотивационных конфликтов[[79]](#footnote-80).

Изменчивости хранящихся в памяти следов способ­ствует избыточность энграмм — свойство мозга фиксиро­вать и те детали внешнего стимула, которые не представ­ляются актуальными, приспособительно значимыми в мо­мент восприятия. Такое запоминание «впрок», «на всякий случай» резко повышает детерминирующий потенциал прошлого опыта, нацеливая его на прагматически неопре­деленное будущее[[80]](#footnote-81).

Итак, психические мутации — принципиально новые модификации хранящихся в памяти энграмм, их комби­нации, непосредственно не вытекающие из ранее накопленного субъектом опыта (включая присвоенный им опыт других людей), — представляют тот исходный материал, который подлежит последующему отбору. Этот отбор осу­ществляет социально детерминированное сознание чело­века, вначале путем сопоставления гипотезы с имеющимся знанием, а затем благодаря критерию практики — экспе­риментальной, производственной и общественной в самом широком смысле слова.

*Отбор*. В процессе биологической эволюции наблюда­ются две разновидности выживания: благодаря лучшей адаптированности к среде каждой отдельной особи и с по­мощью высокой плодовитости. Последняя форма не обя­зательно связана с лучшей защищенностью. В сфере творчества отбору по приспособленности, по-видимому, соответствует отбор психических мутаций, адекватных объективной действительности, т.е. гипотез и догадок, вы­державших сопоставление с этой действительностью. Но жизнеспособными могут оказаться и такие мутации, кото­рые не имеют своего реально существующего эквивалента: бог, черт, Земля, покоящаяся па слонах, телепатия, теле­кинез и т. д. Удовлетворяя ту или иную человеческую потребность в упорядочивании представлений об окружа­ющем мире, в канонизировании социальных норм и т. д., такого рода мутации-мифы приобретают широкое распро­странение и за отсутствием подлинных знаний о мире пе­редаются от поколения к поколению, овладевая сознанием множества людей.

Наличие обостренной потребности объясняет стреми­тельное распространение (копирование, тиражирование, своеобразную «плодовитость») всякого рода слухов, псев­донаучных сенсаций и домыслов, в то время как подлинные открытия, родившиеся из гипотез, подтвержденных тщательной проверкой, могут длительное время оставаться достоянием узкого круга специалистов. Только претворив­шись в технологию, в новые способы производства, откры­тия и изобретения входят в жизнь широких масс населе­ния, становятся общеизвестными.

Имеют свою аналогию и такие типы отбора, которые в биологии получили наименование направленного, ста­билизирующего и дизруптивного отбора. Направленный отбор наблюдается при изменении среды или при адапта­ции к вновь освоенной среде, когда элиминируются наиме­нее приспособленные особи с присущей им наследственно­стью. Такой тип отбора гипотез имеет место в случае определившегося и кажущегося достаточно перспектив­ным направлением поиска отсутствующих решений. Сознание будет исходно отбрасывать предположения, дале­кие от господствующего круга идей.

Когда популяция хорошо приспособлена к среде, ста­билизирующий отбор удаляет крайние вариации, возника­ющие в результате мутаций, потока генов, расщепления и рекомбинации. Так относится к психическим мутациям догматическое сознание, ориентированное на сохранение сложившихся представлений.

При дизруптивном отборе в полиморфной популяции, осваивающей неоднородную среду обитания, адаптивную ценность представляют именно крайние варианты измен­чивости, а наименее ценны «усредненные» особи. Подоб­ный тип отбора характерен для творческого процесса, где возникшая проблема по находит сколько-нибудь готовых предпосылок ее разрешения. Требуются поистине «безум­ные идеи», крайние варианты психического мутагенеза.

В процессе биологической эволюции индивидуально приобретаемая (фенотипическая) пластичность задержи­вает выбраковку и обеспечивает популяции время, необ­ходимое для появления новых генетических вариаций (мутаций), т. е. время для генетической реакции на изме­нившиеся условия среды. Нечто подобное мы находим и в сфере творчества. Модификации, уточнения, подновление старых теорий, способов производства и социальных норм продолжается до тех пор, пока появление принци­пиально новых гипотез не приведет к качественному скачку в творческом и практическом освоении изменя­ющейся действительности.

*Ограничения*. Биологическая эволюция предполагает диалектически противоречивое сочетание тенденций из­менчивости и стабилизации. Сохранению вида способ­ствуют специальные изолирующие механизмы: внешние (изоляция видов во времени и пространстве, экологиче­ское и механическое препятствие к скрещиванию) и внут­ренние (несовместимость, нежизнеспособность гибридов, их стерильность и разрушение). Функция этих механиз­мов состоит в том, чтобы удерживать свободное скрещи­вание и создание рекомбинаций в пределах, полезных и приспособительном отношении.

Нечто подобное мы находим и в области творчества, где специальные механизмы удерживают генерирование психических мутаций в пределах, не позволяющих твор­ческому процессу превратиться в слепое угадывание или психопатологию. Эти механизмы также можно разделить на внешние и внутренние. К разряду внешних ограничи­телей следует отнести влияние традиций и достигнутого уровня мыслительной деятельности. Как мы уже писали выше, хотя сознание непосредственно не вмешивается в процесс психического мутагенеза, оно оказывает опо­средствованное влияние па этот процесс формулировкой вопросов, подлежащих разрешению.

Не менее эффективны и механизмы внутренней за­щиты. Если нарастание пищевой потребности на первых этапах ведет к увеличению пищевых ассоциаций при экс­позиции субъекту неопределенных зрительных стимулов, то после суточного голодания количество таких ассоциа­ций уменьшается. Иными словами, здесь включается ме­ханизм, который препятствует беспочвенным фантазиям и ориентирует субъекта на анализ реальной действительно­сти, способный привести к удовлетворению имеющейся у него потребности[[81]](#footnote-82). Наличие контролирующих психи­ческие мутации механизмов выступает особенно наглядно при сопоставлении гипотез ученого или замыслов худож­ника с содержанием сновидений, не говоря уже о бреде и галлюцинациях больного мозга. Хотя тема «гений и бе­зумство» занимала умы на протяжении столетий, сегодня совершенно очевидно качественное различие между оза­рением здорового творческого мышления и психопатоло­гией. Искусством может быть только то, что духовyо здо­рово, утверждал Ван Гог. «Творить, — по мнению А. Пуан­каре,— это означает не создавать бесполезных комбинаций, а создавать полезные, которых ничтожное меньшин­ство… Бесплодные комбинации даже не придут в голову изобретателю. В поле зрения его сознания попадают лишь действительно полезные комбинации и некоторые другие, имеющие признаки полезных, которые он затем отбросит»[[82]](#footnote-83).

Приведенное высказывание не следует понимать бук­вально. Творчество — это отнюдь не сплошные озарения и успехи. Достаточно вспомнить работу выдающихся уче­ных, предшествовавшую открытию, черновики великих пи­сателей, эскизы художников и зодчих, чтобы понять, сколь невелик процент «полезных комбинаций» по сравнению с «тысячами тонн словесной руды», о которых говорил Маяковский. Мы процитировали А. Пуанкаре лишь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что деятельность сверхсознания (интуиции, психического мутагенеза) — не калейдоскоп, не бросание орла и решки, но процесс неосо­знаваемого поиска, имеющий свои, пока что неведомые нам правила рекомбинирования ранее накопленного опыта.

Не менее существенна разница между догадками ди­летанта и творческими гипотезами профессионала, хотя дилетант порой и может нащупать верный путь к реше­нию проблемы. И снова здесь напрашивается аналогия с биологической эволюцией. Примитивные организмы эли­минируются хищниками неизбирательно, поэтому их эво­люция протекает очень медленно. Сложные организмы, способные к активному расселению и сопротивлению, к быстрому бегу, элиминируются избирательно в зависи­мости от эффективности их действий, благодаря чему они эволюционируют гораздо быстрее. Здесь возникают слож­ные обратные связи организма со средой, которые влияют па направление филогенеза и ускоряют его течение[[83]](#footnote-84). Надо ли говорить, что ход порождения гипотез, их отбор и выдвижение новых идей протекают у талантливого и вооруженного знаниями профессионала совершенно в иных временных интервалах, чем более или менее слу­чайное угадывание даже одаренного дилетанта.

*Прогресс*. Новые формы живых существ появляются преимущественно в изолированных периферических попу­ляциях, отделившихся от свободно скрещивающейся предковой популяции. Возникновение новых крупных биоло­гических групп совпадает, как правило, с занятием этой группой ранее не освоенных адаптивных зон. Этот про­цесс чрезвычайно напоминает те благоприятные условия для порождения и развития новых идей, которые склады­ваются в немногочисленных, как бы изолированных от гос­подствующих научных представлений группах исследова­телей. Примером такой «дочерней популяции» может служить, скажем, «Копенгагенский кружок» физиков или школа Павлова при жизни своего основателя. Связь появ­ления новых групп живых существ с занятием новой адаптивной зоны сопоставима с бурным развитием ориги­нальных научных идей на «свободных территориях», в том числе в зонах, граничащих с различными отраслями знаний (биофизика, молекулярная биология, кибернетика и т. д.).

Наиболее важным признаком прогресса в органической эволюции считается способность управлять средой, что ведет к уменьшению зависимости от ее изменений. Нараста­ющая специализация но может быть признана критерием прогресса, потому что она препятствует освоению новых сред и часто закапчивается тупиком. «Прогрессивная эво­люция слагается из приспособлений к ряду последовательных сред, все более отдаляющихся от первоначальной среды, в которой обитали предки»[[84]](#footnote-85). Прогресс есть «по­степенное завоевание сред». Это определение В. Гранта почти текстуально воспроизводит идеи В. И. Вернадского и А. А. Ухтомского. После возникновения того, что Вер­надский назвал ноосферой, освоение окружающего про­странства приобретает не только физический, но и интел­лектуальный характер: так наука осваивает глубины Все­ленной, физически недостижимые для человека.

Рассматривая эту тенденцию на уровне потребностей, инициирующих индивидуальное поведение, А. А. Ухтом­ский считал, что основной тенденцией в развитии мотивов является экспансия в смысле овладения средой во все расширяющихся пространственно-временных масштабах (хропотопе), а не редукция как стремление к «защите» от среды, уравновешенности с ней, разрядке внутреннего напряжения[[85]](#footnote-86). Таким образом, освоение окружающего мира в свете идей Вернадского—Ухтомского включает в себя: 1) физическое заселение путем роста и размноже­ния (место в геосфере); 2) необходимость занимать опре­деленную позицию среди других живых существ своего и чужих видов (место в биосфере, которое на уровне чело­века становится местом в социосфере); 3) интеллектуаль­ное освоение мира путем присвоения уже имеющихся культурных ценностей и познания неизвестного предше­ствующим поколениям (место в ноосфере). Эта тенденция развития («потребности роста» — по терминологии запад­ных авторов) может реализоваться только благодаря ее диалектическому единству со способностью к сохранению живых систем и результатов их деятельности, благодаря удовлетворению «потребностей нужды».

*О самодетерминации поведения и творчества*. Процесс самодвижения живой природы предстает как диалекти­чески противоречивое единство тенденций самосохранения и саморазвития. Признавая наличие самодвижения, само­развития и самосохранения, мы тем самым предполагаем и факт самодетерминации этого развития, поскольку в про­тивном случае его «самость» теряет смысл. Однако боль­шинство авторов считает самодетерминацию свойством, присущим только высшим и наиболее сложным живым существам. «Свободный выбор, — пишет Д. И. Дубров­ский, — ... это особый тип детерминации — *самодетерми­нация*, присущая определенному классу высокоорганизо­ванных материальных систем»[[86]](#footnote-87). Современное естество­знание знает два источника детерминации поведения жи­вых существ. Это — либо врожденные формы поведения, детерминированные процессом филогенеза, либо индиви­дуально приобретенный опыт, детерминированный влия­нием внешней (для человека — прежде всего социальной) среды, т. е. воспитанием в широком смысле. Откуда же берется, что из себя представляет загадочное «третье», дающее основание говорить о *самодетерминации*!

Оно исчезает, как только исследователь пытается сколько-нибудь детально обсудить вопрос об источниках самодетерминации. В качестве примера приведем рассуж­дение Р. Сперри — одного из первооткрывателей функциональной асимметрии головного мозга. «Принятие решений человеком не индетерминировано, но самодетерминировано. Каждый нормальный субъект стремится контроли­ровать, то, что он делает, и определяет свой выбор в соот­ветствии со своими собственными желаниями... Самоде-терминанты включают ресурсы памяти, накопленные во время предшествующей жизни, систему ценностей, врож­денных и приобретенных, плюс все разнообразные психи­ческие факторы осознания, рационального мышления, ин­туиции и т. п.»[[87]](#footnote-88). Но ведь и память, и структура потреб­ностей («желаний»), присущих данной личности, *детер­минированы*, как признает сам Сперри, врожденными задатками и «предшествующей жизнью». При чем же здесь «самодетерминация»?

Считается, что поведение является тем более самоде-термипированпым (т. е. свободным), чем лучше и полнее познаны объективные законы действительности. Но ведь в случае познания объективных законов поведение начи­нает *детерминироваться* этой познанной необходимостью. Познанная необходимость определяет и выбор поступка, действия, принимаемого решения. Какая уж тут «само­детерминация» и «свобода выбора»!

Мы полагаем, что в основе самодетерминации лежит универсальное для всего живого, хотя и качественно раз­личное по своим конкретным проявлениям, сочетание пер­вичной вариабельности, изменчивости исходного мате­риала (мутации, рекомбинации генов, модификация и рекомбинирование хранящихся в памяти следов) с вторич­ным действием отбора. На биологической стадии развития живой природы этот отбор предстает как естественный (а затем и искусственный) отбор, открытый Дарвиным. На уровне творческой деятельности человека речь идет об отборе гипотез, предположений и других результатов рекомбинированного сверхсознанием опыта путем их сопоставления с реальной действительностью, с многообраз­ными потребностями человеческих обществ.

Важно подчеркнуть, что изменчивость и отбор суще­ствуют не изолированно друг от друга, но будучи взаимо­обусловлены сложнейшей системой обратных связей. Мы уже ссылались на М. С. Гилярова, показавшего неко­торые из этих связей в сфере биологической эволюции. Роль подобных связей резко возрастает и приобретает новое качество в сфере творческой деятельности человека. Здесь социально детерминированные человеческие потреб­ности, с одной стороны, выполняют отбирающую функ­цию, поскольку ценность новой информации определяется через ее способность повышать вероятность удовлетворе­ния этих потребностей. С другой стороны, именно актуа­лизированная потребность и сопровождающие ее эмоции оказываются фактором, побуждающим и канализирующим деятельность интуиции (сверхсознания).

Впрочем, аналогичную ситуацию мы находим и в сфере эволюции, где, по данным академика Д. К. Бе­ляева, эмоциональный стресс одновременно представляет собой и фактор отбора (например, по стрессоустойчивости), и фактор, усиливающий разнообразие подлежащего отбору генетического материала.

В самом начале раздела мы подчеркнули, что мысль о сходстве фундаментальных принципов, лежащих в ос­нове биологической эволюции и эволюции культуры — творческой деятельности человеческого мозга, высказы­вали многие авторы. В чем мы видим наш собственный вклад в развитие этой идеи, имеющей непосредственное отношение к проблеме человеческой индивидуальности? Прежде всего, в утверждении о том, что механизмы сверх­сознания обслуживают потребность, главенствующую в структуре мотивов данной личности. Творческая актив­ность порождается недостаточностью для субъекта суще­ствующей нормы удовлетворения этой потребности. Ин­туиция непреложно работает на доминирующую потреб­ность, и бессмысленно ждать озарений на базе второсте­пенного для субъекта мотива. Следовательно, формиро­вание социально ценной творческой личности начинается с формирования достаточно сильной социально ценной потребности. Тренировка «творческого мышления», «твор­ческого труда», развитие так называемой «креативности» сами по себе ничуть не лучше воспитания «эмоционально богатой» личности безотносительно к характеру ее по­требностей.

Далее. Интуиция (сверхсознание) включается там, где мотивационная доминанта встречается с информационным дефицитом, с разрывом логической цепи мышления и дей­ствий. Вот почему игровая деятельность детей с их позна­вательными доминантами и чрезвычайно слабой «воору­женностью» сознания оказывается периодом интенсивной тренировки механизмов интуиции, где озарения, догадки и открытия следуют буквально друг за другом. Не зря говорят, что творческие личности — это люди, сохранив­шие в себе черты детства с его изумлением перед окру­жающим миром и свежестью взгляда, не отягощенного мыслительными стереотипами и готовыми решениями. По мере взросления происходит обогащение как сознания (вполне осознаваемого опыта), так и подсознания, т. е. совокупности вторично неосознаваемых, автоматизирован­ных навыков и умений. На определенном этапе у сверх­сознания (творческой интуиции) появляется возможность непосредственного использования опыта, хранящегося в подсознании. «Творческая личность, — утверждает аме­риканский психолог Л. С. Кьюби, — это такая, которая некоторым, еще случайным образом сохраняет способность использовать свои подсознательные функции более сво­бодно, чем другие люди, которые, быть может, потен­циально являются в равной мере одаренными»[[88]](#footnote-89).

Далее. Широкий эволюционный подход к природе сверхсознания подтверждает справедливость неоднократно высказывавшихся предупреждений о бессмысленности по­пыток прямого волевого вмешательства в механизмы твор­чества. Отвергая продуктивность и саму возможность по­добного вмешательства, К. С. Станиславский настаивал на существовании косвенных путей сознательного влия­нии на эти механизмы. Инструментом подобного влияния служит профессиональная психотехника артиста, призван­ная решать две задачи: готовить почву для деятельности подсознания и не мешать ему. «Предоставим же все под­сознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что нам доступно, — к сознательным подходам к творчеству и к сознательным приемам психотехники. Они, прежде всего учат нас, что, когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему»[[89]](#footnote-90). Именно созда­ние условий, оптимальных для неосознаваемой творческой деятельности, является объектом того научного анализа, который способен вооружить художественную практику искусства, причем «чем гениальнее артист ... тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию, для воздействия на скрытые в нем тайники подсознания, где почиет вдохновение»[[90]](#footnote-91).

«Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно, — утверждал Ф. И. Шаляпин. — Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса — то, что лежит по ту сторону забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть, даже решающее значение — она возбуждает и питает ин­туицию, оплодотворяет ее... Какие там осенят актера вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может, и думать об этом не должен, — придет это как-то помимо его сознания; никаким усердием, никакой волей он этого предопреде­лить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать. То есть сознательным усилием ума и воли он обя­зан выработать себе взгляд на то дело, за которое он берется»[[91]](#footnote-92).

Говоря о неосознаваемых этапах художественного твор­чества, Станиславский использовал два термина: «под­сознание» и «сверхсознание». По мысли Станиславского, «истинное искусство должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного органического творчества»[[92]](#footnote-93). В тру­дах Станиславского нам не удалось найти прямого опре­деления понятий под- и сверхсознания. Тем не менее мы убеждены, что введение категории сверхсознания — не случайная вольность изложения, но необходимость, про­диктованная представлением о сверхзадаче.

Поскольку искусство есть разновидность деятельности познания, ключевым моментом этой деятельности оказы­вается открытие, где роль гипотезы играет феномен, на­званный К. С. Станиславским сверхзадачей. «Подобно тому, как из зерна вырастает растение, — писал Стани­славский, — так точно из отдельной мысли и чувства пи­сателя вырастает его произведение… Условимся… на­зывать эту основную, главную, всеобъемлющую цель, при­тягивающую к себе все без исключения задачи ... сверхзадачей произведения писателя»[[93]](#footnote-94).

Сверхзадача характеризуется следующими чертами.

1. Будучи тесно связана с мировоззрением художника, с его гражданской позицией, сверхзадача нетождественна им, поскольку является эстетической категорией, специфи­ческим феноменом художественной деятельности.

2. Определить сверхзадачу словами можно только при­близительно, потому что в целом она непереводима с языка образов на язык понятий. Отсюда проистекает множе­ственность (практически неисчерпаемость) толкований сверхзадачи одного и того же произведения.

3. Процесс нахождения, открытия сверхзадачи про­текает в сфере неосознаваемой психической деятельности, хотя путь к этому открытию, равно как и последующая оценка его эстетической, философской, общественной зна­чимости, характеризуется активным участием сознания.

Хотя сверхзадача художественного произведения не поддается исчерпывающему логическому истолкованию, хотя восприятие сверхзадачи оказывается различным у раз­ных людей (слушателей, читателей, зрителей), в этом восприятии безусловно присутствует нечто общее, сходное для всех, адресованное скорее сверхсознанию зрителя, чем его сознанию, понимаемому как рациональное мышление. Воспринимая произведения искусства, зритель, читатель, слушатель тренируют свое сверхсознание. В метафориче­ском строе произведения они обнаруживают вопросы, про­блемы, загадки, требующие ответа. Но ответа, не извест­ного ранее, а нового, еще незнакомого сознанию, не бытовавшего в данной общественной среде. Самостоятельно найдя такой ответ, люди познают неизвестное им до этого, открывают для себя истину, которая подлежит последую­щему размышлению, сопоставлению с наличным знанием и включению в сферу сознания.

Так искусство служит удовлетворению исходной чело­веческой потребности познания. Общественный спрос сви­детельствует об успешности этого служения. Но познание, которое дает потребителю искусство, своеобразно, — оно подобно познанию практическому, тем знаниям, которые человек приобретает сам, своими собственными путями, о которых говорят: «своим умом дошел». Такие знания не всегда и не полностью переходят в сознание, но они отли­чаются большей прочностью, чем знания, усвоенные тео­ретически или путем подражания. Адресуясь к сверхсо­знанию человека, они формируют в читателе, зрителе, слушателе те свойства и качества, доступ к которым наи­более сложен и труден.

Трехуровневая структура психики — подсознание, сознание и сверхсознание — может рассматриваться как еще один параметр индивидуальности, поскольку у разных лю­дей активность этих трех инстанций выражена далеко не в одинаковой степени. Мы уже упомянули об особой активности сверхсознания у детей *на определенном этапе* онтогенетического развития. Следует специально огово­рить, что сверхсознание в пашем понимании не имеет ничего общего с представлением 3. Фрейда о «Сверх-Я». «Сверх-Я» Фрейда — это совокупность социально детерминированных норм (запретов, велений, предписаний), усвоенных субъектом и вторично перешедших в сферу неосознаваемого психического. Конфликт между «Оно» и «Сверх-Я» у Фрейда есть конфликт между биологиче­скими влечениями и социальными нормами их удовле­творения. Что же касается сверхсознания, то оно нередко функционирует в зоне конфликта между социальными и идеальными потребностями, между существующими нор­мами и необходимостью их изменения, совершенствова­ния, возвышения в связи с успехами познавательной дея­тельности человека.

Каждый человек обладает индивидуальной структурой трех уровней психики. Все они входят в его вооружение, обеспечивающее удовлетворение потребностей и их возвы­шение в процессе исторического развития человечества. Все три уровня развиваются, обогащаются и тренируются, начиная с раннего детства. Сверхсознание тренируется игрой, а затем — искусством. Сознание обогащается в про­цессе обучения, а потом — образованием и мышлением. Подсознание «наполняется» посредством подражания, а позднее — практическим опытом, который контролиру­ется сознанием.

# РЕФЛЕКС ЦЕЛИ ПАВЛОВА, ДОМИНАНТА УХТОМСКОГО И СВЕРХЗАДАЧА СТАНИСЛАВСКОГО

*Две неподвижные идеи не могут вместе*

*су­ществовать в нравственной природе так же,*

*как два тела не могут в физическом мире*

*за­нимать одно и то же место.*

А. Пушнин

Эти три понятия, как и эпиграф, взятый из «Пиковой дамы», говорят об одном и том же, но в каждом случае в них содержится нечто свое. Наиболее универсально по­нятие «доминанта». Это — потребность, главенствующая над всеми, с нею сосуществующими, наиболее сильная, актуальная, диктующая поведение в данное время и в данной ситуации. «Сверхзадача» по Станиславскому — главная задача сценической жизни образа, подчиняющая себе все частные задачи, составляющие эту жизнь. «Сверх-­сверхзадача артиста» — главная задача всей его художе­ственной артистической деятельности. По Станиславскому, сверх-сверхзадачей определяется в решающей мере и да­рование, и профессиональная вооруженность, и продук­тивность деятельности артиста. «Рефлекс цели» по Пав­лову — наличие именно такой, объединяющей все потреб­ности, настойчиво преследуемой цели. Пушкин описал та­кого рода целенаправленность в образе Германца в «Пиковой даме». Подобную целеустремленность воспроиз­водил и Ст. Цвейг, например, в рассказе «Амок». Досто­евский создал обширную галерею людей, одержимых целью, поглощающей всю их жизнь.

Впрочем, и в окружающей нас жизни нетрудно заметить, что любой человек значителен в той мере, в какой он поглощен значительной целью и сколь реально, а следовательно, и продуктивно его стремление к этой цели. Поглощающую человека целеустремленность мы будем называть по Ухтомскому — доминантой. Обращение к ней «следователей человеческой природы — ученых и писателей не случайно. Но не случайно и разнообразие в употреблении этого центрального понятия. Станиславский был озабочен содержательностью и выразительностью художественных образов. Его «сверх-сверхзадача» — это своеобразная *доминанта всей жизни*. Па разных этапах жизненного пути она наполнена различным содержанием. В раннем детстве она сводится к биологическим потребностям, к потребности в вооружении, в игре, в преодолении препятствий. Потом созревают социальные и идеальные потребности, причем последние достигают максимальной силы в юношеском возрасте. Затем наступает некое равновесие с доминированием в большинстве случаев потребностей социальных, различных по конкретному содержанию и силе, что в наибольшей степени и характеризует их обладателя. Вместе со старением человека доминанта его жизни претерпевает некоторые изменения, а затем, в дряхлости, вероятно, происходит обратная эволюция — возврат к биологической доминанте и постепенное угасание потребностей. Разумеется, так можно себе представить только самую грубую схему «доминанты жизни», или сверх-сверхзадачи по Станиславскому.

Доминанту Ухтомского можно назвать «ситуационной доминантой». Как бы ни был человек поглощен доминан­той жизни, окружающие обстоятельства могут совершенно отвлечь от нее и на какое-то время полностью поглотить человека. Так бывает, когда человек сильно проголодался, замерз, заболел, когда заболел кто-то из близких, когда с ним самим или с кем-то из близких случилось не­счастье. Так бывает с влюбленными в случае сильных, хотя бы и мимолетных, увлечений. Граница между «доминантой жизни» и «доминантой ситуации» становится расплывчатой. Человек может ошибочно принять вторую за первую. Но ситуация изменяется, и увлечение осты­вает. Доминанта ситуации уступает место либо доминанте жизни, либо другой ситуативной доминанте. Если связующие друг друга доминанты оказываются связанными в единую цепь, мы имеем перед собой уже не ситуацион­ные доминанты, а доминанту жизни с ее различными трансформациями. Так ученый может переходить в своих исследованиях от одной проблемы к другой, но все они образуют единый главный предмет его интересов. Так переходит от одного произведения к другому художник, развивая разные стороны единой темы, разные подходы к ней. Но так же и карьерист сменяет одну должность в любом учреждении на другую с единственной целью восхождения по ступеням служебной лестницы к ее вер­шине.

Доминанта жизни выявляется в контексте ситуацион­ных доминант. В них она трансформируется подчас до неузнаваемости. Что именно связывает их воедино? Это зависит от содержания доминанты жизни. Сколь часто и какие по содержанию ситуационные доминанты отвлекают человека от его доминанты жизни? Это зависит от силы каждой из них и от силы доминанты жизни. Подобные вопросы могут быть продолжены. Например: какое место в ситуационных доминантах занимает потребность в во­оружении? Какие из них биологические? Какие идеаль­ные? В результате взаимодействия доминанты жизни с текущими ситуативными доминантами формируется «практическая доминанта», непосредственно определяю­щая поведение. Она лежит в основе поступков каждого наблюдаемого нами человека и каждого поступка нас самих. Это — та самая доминанта, которую Павлов назвал «рефлексом цели». В качестве иллюстрации Павлов при­водит страсть коллекционирования, понимая ее в самом широком смысле: любой человек что-то коллекциони­рует — вещи, деньги, знания, знакомства, признаки ува­жения и т. п.

Некоторые из практических доминант совершенно сли­ваются с доминантой ситуации, некоторые — ближе к до­минайте жизни или даже совпадают с нею. Практическую доминанту можно назвать равнодействующей двух сил — двух доминант, каждая из которых влечет ее к себе, кон­курируя с другой. Можно, впрочем, сказать и так: любого человека от доминанты жизни отвлекает доминанта си­туации. Какая? Когда? В какой мере? Насколько сильно и насколько далеко?

Все эти вопросы касаются местонахождения практи­ческой доминанты среди двух исходных. Вопросы могут быть поставлены и в обратном порядке: если от ситуа­ционных доминант что-то отвлекает человека, то как часто это происходит? В каких именно жизненных усло­виях? Что из себя представляет это «что-то»? В ответах мы получим красноречивую и объективную характери­стику данного человека.

Если потребности человека обнаруживаются в его эмо­циях, то индикатором практической доминанты служит деятельность сверхсознания. Доминирующая потребность мобилизирует все наличные возможности человека, всю его вооруженность. Если при этом не используется сверх­сознание (а оно включается в работу непроизвольно), то это означает, что доминанта либо не задета, либо она слаба. Как правило, поиск решения (удовлетворения по­требности) (начала ограничивается деятельностью созна­нии и подсознания. Но по мере того, как на пути к удов­летворению доминанты возрастают все новые препят­ствия, стремительно возрастают и усилия. Все более мобилизируются резервы, которыми располагает сознание, на­чиная с оправдавших себя ранее средств. Потом человек переходит к редко или даже впервые применяемым спо­собам, к обдумыванию ситуации, к поискам новых средств, к предположениям, к догадкам: начинает работать интуи­ция. Такая постепенная мобилизация усилий есть след­ствие экономии сил. Если энергетический импульс потреб­ности силен, то сверхсознание способно подсказать интуи­тивное решение. Его продуктивность определяется степенью вооруженности. При любой вооруженности чело­века нам важно понять, в каких делах он наиболее догад­лив, проявляет находчивость, интуицию, подлинное даро­вание? Где интуиция, там доминанта.

Но сверхсознание обслуживает практическую доми­нанту, не только предлагая решения, происхождение кото­рых не поддается сознанию. Эту деятельность сверхсозна­ния можно назвать *позитивной*, и именно она в наиболь­шей степени зависит от вооруженности субъекта. Существует и негативное сверхсознание. Его функция — отбрасывать прочь заботы, мысли, побуждения, соблазны — все, что может помешать позитивной работе, отвлечь от нее, занять время, рассредоточить внимание. Негативное сверхсознание работает несравненно больше и чаще, чем представляется па первый взгляд. Оно предшествует пози­тивной работе и выполняет сугубо служебную роль, а по­тому нередко остается в тени, проявляясь всего лишь в характере выполнения отдельных действий.

Как только в действиях человека появляются небреж­ность, неряшливость, а в диалоге — стремление отделаться от собеседника, мы можем с уверенностью констатиро­вать работу негативного сверхсознания. В технологии ак­терского искусства известно специфическое словесное дей­ствие «отделываться». Его смысл таков: «пойми и от­стань». Подразумевается: «я занят, ты мешаешь»[[94]](#footnote-95). Хорошо воспитанный человек не позволяет себе «отделы­ваться» от собеседника, не допускает и небрежность, не­ряшливость в поведении. Таковы нормы культуры. Они возникли, существуют и нужны именно потому, что вслед­ствие стечения определенных обстоятельств сверхсознание человека в его негативном варианте порождает стремление освободиться от помех на пути к удовлетворению практи­ческой доминанты вопреки интересам окружающих. Нормы вежливости противостоят этому диктату и сдерживают его.

Негативное сверхсознание, подобно позитивному, обна­руживает практическую доминанту, но от обратного. Оно указывает на все, что чуждо доминанте, мешает, проти­воречит ей. Так, небрежность в выполнении работы ука­зывает на незаинтересованность в ее плодах, неряшли­вость во взаимоотношении с человеком — об отсутствии интереса к нему. Значит, интересы субъекта, его практи­ческая доминанта направлены в другую сторону. Какую? Об этом свидетельствует позитивное сверхсознание. Но негативное сверхсознание не только придает определен­ный характер поведению человека: доходя до крайних степеней остроты и силы, оно ведет к поступкам, только им продиктованным. В зависимости от принадлежности практической доминанты к той или иной сфере потреб­ностей это обостренное негативное сверхсознание прояв­ляется по-разному. В биологических и социальных потребностях его деятельность начинается с небрежности: в био­логических потребностях — к здоровью, в социальных — к делу, к работе, к нормам общественного поведения. При­мерами крайних форм проявления негативного сверхсознания могут служить в сфере биологических потребно­стей — самоубийство, в сфере социальных — преступле­ние, совершенное в запальчивости и раздражении. Идеаль­ные потребности не вызывают отрицательных эмоций. Потребность познания удовлетворяется информацией, ка­кова бы она ни была: в любом случае происходит прирост информированности. Вот почему негативное сверхсозна­ние в ходе удовлетворения идеальных потребностей пара­доксально связано с эмоциями положительными, с чув­ством юмора по отношению к собственным заблуждениям. Одним из убедительных проявлений практической доми­нанты является щедрое расходование сил, поскольку до­минанта вынуждает преодолевать потребность в их эко­номии. Когда сверхсознание приводит к решению трудной задачи, этот момент переживается как положительная эмоция, порожденная удовлетворением потребности в эко­номии сил.

Представление о практической доминанте как синтезе доминанты жизни и многообразных ситуационных доми­нант способствует диагностике человеческих индивидуаль­ностей и вносит дополнительную ясность в картину об­щих закономерностей человеческого поведения. Формиро­вание, структурирование практической доминанты проис­ходит у разных людей с различной степенью трудности. Ведь нужно связать и воплотить в конкретной цели поток поступающей извне информации с учетом собственной предынформированности, соотнести се со всем множе­ством и разнообразием своих потребностей; мало того, все это нужно связать с доминантой жизни и с нормами удовлетворения потребностей, господствующими в данное время в данной среде. Но собственные потребности тоже не пребывают в неподвижности, да и веления норм бы­вают сложны и противоречивы. В результате формирова­ние практической доминанты происходит почти непре­рывно на протяжении всей жизни человека.

В процессе формирования практической доминанты происходит трансформация исходных потребностей субъ­екта в более или менее сложный набор конкретных моти­вов, интересов и целей. В практической доминанте созна­тельное (осознаваемое, допускающее вербализацию) пере­плетается с неосознаваемым — подсознательным и сверхсознательным — позитивным и негативным. А чем зани­мается человек, отдыхая! Чем занят его досуг! Если на отдыхе все, связанное с практической доминантой, исче­зает и забывается, то, вероятно, это — не доминанта (а если и она, то не практическая, а ситуативная). Прак­тическая доминанта потому и является таковой, что чело­век расстаться с нею не может. Но отдых необходим, к нему побуждает исходная биологическая потребность экономии сил. Противоречие устраняется тем, что при­нято называть «хобби». Это — субдоминантная, но доста­точно сильная потребность, далекая по содержанию от доминанты, но цепная именно своей отдаленностью: она обеспечивает отдых, который сам по себе увлекателен. Им может быть самодеятельное искусство, спорт или игры — трансформации потребности в вооружении.

Среди обстоятельств, препятствующих формированию практической доминанты, наиболее распространены: со­существование двух потребностей, равных по силе и с равной силой претендующих на господствующее поло­жение; столкновение сильной потребности с господствую­щей нормой ее удовлетворения; столкновение самих этих норм, когда соблюдение одной важной для субъекта нормы неизбежно влечет за собою нарушение другой, не менее значительной. Такие и подобные им столкновения нередко берутся драматургами за основу драматической коллизии. Шекспир чаще всего воспроизводит столкновение нена­сытности потребности с категоричностью норм ее удовле­творения. Островский обычно показывает столкновение несовместимых норм. Гоголя занимает логичность и ало­гичность норм, взаимосвязи сознания с под- и сверхсознанием.

# ОТ ПОВЕДЕНИЯ К ЛИЧНОСТИ

*Нам надо из самоудовлетворепных в своей*

*логике теорий о человеке выйти к самому*

*че­ловеку во всей его живой конкретности и*

*реальности. . . Наше время живет муками*

*рож­дения этого нового метода. Он оплодотворит*

*нашу жизнь и мысль стократно более, чем*

*его прототип — метод Коперника.*

А. А. Ухтомский[[95]](#footnote-96)

Индивидуальные особенности человека являются пред­метом исследования целого комплекса наук — генетики, физиологии, науке о высшей нервной деятельности, дифференциальной и социальной психологии, философии. Каждая из этих отраслей знания пользуется своими спе­цифическими методами анализа. Это различие методов справедливо и для изучения самого главного, основного в личности — сферы ее потребностей и мотивов. Физио­логия высшей нервной деятельности (психофизиология) отдает предпочтение тем объективно регистрируемым сдвигам в организме, будь то колебания порогов восприя­тия или изменения электрической активности мозга, ко­торые возникают при действии на субъекта значимых для него событий. А мы знаем теперь, что значимость внешних стимулов есть функция актуализированных по­требностей, к которым эти стимулы адресуются. Психо­логия пользуется главным образом системой специальных вопросников, (тестов), призванных выявить реакции на те же стимулы в процессе повседневной жизни. Система тестов есть, в сущности, попытка упорядочить, формали­зовать и количественно обработать результаты самонаблю­дения человека за своим поведением и эмоциональными реакциями на окружающее. Иногда вопросники обращены к другим лицам, наблюдающим поведение и реакции инте­ресующего нас субъекта, к группе «компетентных судей). Как мы убедились выше, реальные знания, добытые на всех перечисленных направлениях, остаются весьма огра­ниченными.

Наше понимание других и самих себя в огромной мере достигается благодаря искусству, где уникальность и не­повторимость человеческой личности представлена во всей ее жизненной достоверности. Вместе с тем результаты познания человека искусством принципиально неперево­димы с языка художественных образов на язык форма­лизованных понятий. Наука и искусство сосуществуют на правах своеобразной *дополнительности*, исключающей их *взаимозаменяемость*. Вот почему попытки заполнить непознанное наукой искусством (случай, передний в исто­рии описательной психологии) оказываются дважды бес­плодными: и для науки, и для искусства, умерщвляя жи­вую ткань последнего абстракциями логического анализа.

И все же есть область, где достижения художествен­ной практики и научная мысль вступают в непосред­ственный, взаимноплодотворный контакт. Это — область *технологии* художественной деятельности, область худо­жественной педагогики, куда относится все то, что может быть осознано и передало другому в форме систематизи­рованных знаний. Справедливость нашего утверждения ярко иллюстрируется творческими поисками К. С. Стани­славского.

Станиславский стремился найти сознательные «техни­ческие» пути к творческому сверхсознанию артиста, спо­собному воплотить в поведении изображаемого лица «жизнь человеческого духа», подчиненную сверхзадаче, о которой мы писали выше. До Станиславского актерское искусство и театр вообще понимались как изображение («представление») страстей, темпераментов, характеров и т. д. Театральная практика выработала приемы их изо­бражения, которые фиксировали и воспроизводили то об­щее, что присуще многим людям. Отсюда проистекала неизбежная условность этих приемов, их бессилие перед единичным, неповторимым и индивидуальным. Уникаль­ность воссоздаваемой на сцене личности возникала только в игре особо одаренных актеров, причем не благодаря их профессиональным умениям, а, скорее, вопреки им.

Реформа Станиславского началась с отрицания услов­ных приемов изображения отсутствующих страстей. Изо­бражению он противопоставил существование, представ­лению — переживание, характеру, темпераменту и другим частным проявлениям личности — «жизнь человеческого духа», т. е. процесс жизни во всей ее полноте. Сегодня мы знаем, что движущей силой этой жизни являются потребности, их трансформации в производные, все более конкретные мотивы, в действия и поступки. Первона­чально система Станиславского сводилась к «искусству переживания», к тому, чтобы актер не копировал внеш­ние признаки эмоций изображаемого им лица, а стремился вызвать у себя аналогичные чувства. В этих целях был разработан целый комплекс приемов мобилизации внима­ния, воображения, памяти, мышления и других психиче­ских функций, призванных обеспечить нужное пережи­вание. Однако позднее Станиславский пришел к реши­тельному отказу от какой-либо заботы о чувствах. «Нельзя выжимать из себя чувства, — утверждал Станислав­ский, — нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым отвратительным актерским наигрыванием… Оно явится само собой от чего-то преды­дущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом предыдущем думайте усердно и создавайте его во­круг себя. О результате же не заботьтесь»[[96]](#footnote-97). На смену

«искусству переживания» пришел «метод физических дей­ствий», который положил начало науке о театральном искусстве и открыл перспективу научно обоснованного театрального образования. В чем сущность и принципи­альная новизна метода?

В естественном поведении человека действие, посту­пок являются финалом длинной цепи трансформации ис­ходных потребностей, вооружаемых волей, сознанием, под- и сверхсознанием, испытывающих влияние возни­кающих при этом эмоций. В процессе создания сцениче­ского образа актер, по мысли Станиславского, должен разматывать эту цепь в прямо противоположном направ­лении: от действия к его истокам, потому что только дей­ствие доступно непосредственному контролю сознания. Человек может делать, что он хочет, говорил Шопепгауэр, но не может хотеть так, как хочет. Разумеется, речь не идет о действии «вообще», но о действии конкретного лица в конкретных обстоятельствах, что неизбежно, хотя и постепенно, ведет к уточнению той потребности, которой данное действие продиктовано. Проиллюстрируем сказан­ное примером с так называемым «изменением веса».

Каждая вновь поступившая информация в зависимости от предынформированности субъекта и его актуализиро­ванных в данный момент потребностей вызывает те или иные эмоции. Эти эмоции получают внешнее выражение в мимике человека, в его пантомимике (выразительные движения всего тела — изменения позы, походки, выпол­няемых действий), в интонациях речи и т. д. Возникнове­ние эмоции, ее усиление, ослабление, смена одной эмоции другой непосредственно видны в изменениях того инте­грального показателя, который в театральной технологии получил наименование «вес тела»[[97]](#footnote-98). Это выражение носит условный характер, поскольку объективно вес тела чело­века, разумеется, остается одним и тем же.

Интересно, что при стимуляции электрическим током определенных отделов головного мозга в связи с проведе­нием лечебно-диагностических процедур В. М. Смирнов наблюдал возникновение эмоционально отрицательных и положительных состояний, которые больные характеризо­вали как ощущение необычайной «легкости тела» или его «тяжести». Эти ощущения не удалось непосредственно связать с изменениями мышечного тонуса или вестибулярных функций. Хотя физиологическая природа «веса» остается нерасшифрованной, театральная практика ус­пешно попользует этот интегральный показатель.

Когда студент выходит из аудитории, где он только что сдавал экзамен, вы сразу же видите, сдал он экзамен или нет. Другой пример: перед вами человеку читающий длинное письмо. Если сообщаемая в письме информация касается интересов (потребностей) этого человека, он бу­дет «меняться в весе»: приятная информация отразится в «облегчении» тела, неприятная — в его «потяжелении». Или: вашего собеседника отвлек звонок телефона. Он только слушает речь, вы ее не слышите и о чем она, не знаете. Если в процессе слушания «вес» вашего собесед­ника не меняется, — значит, получаемая им информация не задевает его интересов. С другой стороны, каждое зна­чимое (адресованное к актуальным потребностям) сооб­щение будет сопровождаться «потяжелением» или «полегчанием» слушающего.

В процессе репетиционной практики «вес» исполни­теля, служит для режиссера или театрального педагога надежным критерием сценической правды. Если актер не меняется в «весе» или его «вес» не соответствует изме­нениям ситуации, — значит, потребности изображаемого актером лица не соответствуют сверхзадаче образа, по­скольку «вес никогда не врет». Вместо того, чтобы под­сказывать актеру: «Огорчитесь!» (искусство представле­ния) или: «Вспомните какое-нибудь грустное событие!» (искусство переживания), режиссеру достаточно сказать: «Услышав это сообщение, Вы должны потяжелеть». По изменения «веса» непроизвольны, и актер может выпол­нить подобное указание только с помощью соответствую­щей трансформации потребностей изображаемого им лица. Так произвольно контролируемое *действие* активирует ме­ханизмы творческой интуиции, деятельность сверхсо­знания.

Мы обратились к театральному искусству потому, что некоторые приемы его технологии могут быть использо­ваны практической психологией для понимания, или уточ­нения, или различения отдельных сторон, свойств пара­метров личности. Ведь в актерскую технологию они во­шли именно из психологии и театральная практика под­твердила их правомерность. Некоторые приемы актерской технологии могут помочь увидеть то, что с той или другой стороны характеризует личность, увидеть при достаточном знании этих приемов и достаточно пристальном внимании к объекту наблюдения.

Итак, «изменения веса» обнаруживают потребности. Но какие потребности? Сколь далекие (исходные) или, наоборот, сколь близкие, касающиеся сиюминутной ситуа­ции? Эта дистанция обнаружится в том, о каком — дале­ком или близком — предмете идет речь, когда вновь полу­ченная субъектом информация изменила его «вес». Дети прыгают от малейшей радости; они всегда легче стариков, но и они, огорчаясь, «тяжелеют». Легчайший вес больного старика — слабая полуулыбка. Ему всякое движение тя­жело, но и он, радуясь, становится «легче». Что последует за сменой веса: повышенная мобилизованность и воз­растание активности субъекта или, напротив, его демо­билизация? В этом выразится степень актуальности за­тронутой потребности и некоторые другие стороны лично­сти, в том числе воля.

В том, как субъект будет приступать (на театральном языке это называется «пристраиваться») к действию с неживым предметом, мы увидим степень его подготов­ленности к этому делу, его квалификацию, т. е. его воору­женность. Подготовка к взаимодействию с другим чело­веком гораздо сложнее. Зная этого другого и имея пред­ставление об интересах партера, субъект определенным образом оценит свою вооруженность, что сейчас же обна­ружится в его «пристройке».

В технологию актера входит знание и владение разными «пристройками»[[98]](#footnote-99). Они бывают «сверху», «наравне» и «снизу», во множестве градаций постепенного перехода от максимальной «сверху» до самой униженной «снизу». В одних обнаруживаются высокомерие, гордость, чувство собственного достоинства, независимость; в других — скромность, непритязательность, зависимость и т. п. В пер­вых выражается представление субъекта о своем преиму­ществе в силе, в вооруженности; во-вторых — представле­ние о преимуществе партнера. В пристройках «наравне» чередование того и другого, как правило, едва заметно. Если известна вооруженность партнера (его силы, его возможности) и известно, насколько осведомлен об этом наблюдаемый нами субъект, то в характере пристроек последнего обнаруживается, как он ценит свое и чужое вооружение, что ярко показано в известном рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий».

Если за пристройками последует сколько-нибудь дли­тельное взаимодействие партнеров, то в нем прежде всего можно заметить, кто из взаимодействующих и в ка­кой мере занят удовлетворением потребностей «сохране­ния», а кто — «развития». Па языке актерской технологии одни «наступают», другие «обороняются». Наступающие движимы позитивной целью, более или менее далекой; у обороняющихся цель негативна: они только защищаются от чужих притязаний. Цели эти бывают двух родов. Один из них в актерской технологии называются «деловыми», другие — «позиционными». В случае «деловых» целей от­ношения между взаимодействующими определенны, при­чем ни та, ни другая сторона не делает попыток их ме­нять. Взаимодействующие заняты делом как таковым, и их представления друг о друге этому не мешают. Цель «позиционных» наступлений — в изменении взаимоотно­шений. Наступающий неудовлетворен существующими и пытается перестроить их. Либо они нужны ему сами по себе, либо, по его представлениям, он вынужден зани­маться взаимоотношениями потому, что их неурегулиро­ванность мешает делу.

Есть люди, которые по любому поводу начинают «по­зиционное» наступление, но есть и такие, которые редко и только при крайней необходимости переходят к «пози­ционной» борьбе. «Позиционная» цель всегда близка. На­ступающему нужно, чтобы партнер переменил свое пред­ставление о нем как можно скорее — во всяком случае, чтобы он приступил к пересмотру своих представлений. Иногда серьезное, трудное дело именно этого и требует. Но чаще «позиционные» наступления возникают без та­кой необходимости. Тогда они свидетельствуют о мелоч­ности актуальных целей наступающего. Точнее, о том, что отдаленные его интересы не столь уж значительны, чтобы он от них не отвлекался пустяками. Настойчивая склон­ность избегать позиционных наступлений говорит об об­ратном — о наличии у субъекта далеких целей, об их значимости. Между этими крайностями много промежу­точных вариантов: наступающий занят делом, а, кроме того, между прочим и отношениями; или — занят отно­шениями, а кстати, и делом. В таких случаях бывает нелегко установить, что для него важнее? Здесь помогают параметры вооруженности и доминирование потребности «для себя» или «для других».

Сознающий свое превосходство в силе (в вооружен­ности) скуп на слова в деловых наступлениях и слово­охотлив в позиционных. Сознающий превосходство в силе партнера, напротив, скуп на слова во взаимодействиях позиционных и склонен к многоречивости в делах. Доми­нанта «для себя» предрасполагает видеть в партнере (по своему подобию) либо врага, либо конкурента — налич­ного или потенциального. Доминанта «для других» (опять же по своему подобию) располагает к обратному. Поэтому враждебность в представлении о другом часто связана с потребностью «для себя», а дружественность — с потребностью «для других». Во взаимодействии враж­дебность требует максимальной скупости на слова, она довольствуется вопросами, требованиями и ожиданием от­вета во всех случаях, кроме одной разновидности позиционных наступлений. Дружественность располагает к разговорчивости, к многоречивости (если не к болтли­вости), кроме одной разновидности позиционных наступ­лений — той, о которой мы упомянули. Рассмотрим эту разновидность. Установившиеся, удовлетворяющие взаи­модействующих лиц отношения между ними покоятся на двух основах: на признаваемых обеими сторонами совпа­дениях, близости, общности интересов (это и есть «дружественность» той или иной степени в зависимости от значительности этих интересов и полноты их совпадения) и на неоспоримом для каждой из сторон соотношении вооруженности партнеров — на соотношении сил, ка­ково бы оно ни было. Если одна из этих основ пошат­нулась или родилось подозрение о ее непрочности, воз­никает повод для «позиционного» наступления — для установления верных отношений, верных представлений друг о друге взамен оказавшихся ложными. Все подоб­ные отклонения от должных взаимоотношений сводятся обычно к двум вариантам урегулирования. Если партнер слишком высокого мнения о себе и слишком низкого мнения обо мне, его нужно «поставить на место», унизить. Если, напротив, партнер слишком низкого мнения о себе и слишком высокого мнения обо мне, его нужно прибли­зить, возвысить. Каждый из вариантов осуществим двумя способами. «Ставить на место» можно, унижая партнера, распекая, ругая или возвышая себя, хвастаясь своими знаниями, опытом, связями и т. д., и т. и. «Приближать» партнера можно, либо унижая себя, демонстрируя свою скромность, непритязательность, либо возвышая его, льстя.

Если сильный (по собственным представлениям рас­полагающий превосходством в вооружении) часто, много и пространно говорит, то можно быть уверенным: он за­нят «позицией», установлением отношений, их сменой или, чаще, их укреплением, упрочением. Он либо «ставит па место», либо «возвышает себя», хвастается — первое реже, второе чаще. Впрочем, он может даже и льстить, унижать себя, когда добивается сближения. Делом он не занят. Если враг стал разговорчив, — значит, появляются проблески дружественности. Если друг стал молчалив, что-то в дружественности пошатнулось. Если сильный унижается, — ему недостает силы; если слабый уни­жает, — он эту силу ощутил.

Помимо соотношения сил (вооруженности) и соотно­шения интересов («для себя» или «для других») в речи человека по-разному отражаются его биологические, иде­альные и социальные потребности. Для удовлетворения биологических потребностей как таковых слова не нужны, — поэтому небрежность словоупотребления, не­ряшливость речи выдает их давление. Для идеальных по­требностей обиходного словаря недостаточно, — вот почему наука прибегает к специальной терминологии, а словесное искусство, литература — к метафоре. Настоящее и полное применение общепринятый словарь находит в сфере по­требностей социальных. Их давление ведет к речи пра­вильной, логичной, точной, к словоупотреблению ответственному. Так по характеру высказываний человека можно судить о том, насколько сильна в структуре ого потребностей каждая из трех основных.

До сих пор мы имели дело с потребностями, актуаль­ными в данной ситуации и в данное время, отвлекаясь от вопроса о потребности главенствующей, устойчиво, прочно или даже постоянно доминирующей в структуре личности. Технология актерского искусства призвана со­действовать выявлению главенствующей потребности как сверхзадачи роли, но воздерживается от определения средств ее воплощения. В искусстве воплощение главного доверено сверхсознанию. В деятельности сверхсознания это главное и проявляется.

Выявление главенствующей потребности — самая трудная и самая важная задача анализа личности. Основная трудность заключается здесь в том, что в подавляющем большинстве случаев потребность, доминирующая на про­тяжении какого-то определенного периода жизни чело­века, отнюдь не является наиболее устойчивой его доми­нантой. Иллюстрацией тому могут служить всевозможные временные увлечения, влюбленности и экстренные охра­нительные мотивы (например, при острых заболеваниях). Кроме того, «главная доминанта» часто едва выделяется на фоне других мотиваций. Это те многочисленные слу­чаи, когда человек сам не знает, что именно для него в жизни самое главное; он узнает об этом иной раз только при исключительном стечении обстоятельств, когда «на карту поставлены» жизнь, честь, здоровье, когда нужно выбирать немедленно, не думая, между путями прямо противоположными, жертвуя чем-то одним — дорогим, нужным, привычным — чему-то другому, без чего жизнь представляется бессмысленной. Именно здесь сверхсозна­ние обнаруживает действительную доминанту в ее столк­новении с возможными, претендующими на ее место, близкими ей по силе, бывшими когда-то подчас всего лишь воображаемыми доминантами. Подобно тому, как эмоция является индикатором потребностей, сверхсозна­ние есть индикатор доминанты. В обслуживании какой именно потребности данного человека его интуиция уча­ствует в наибольшей степени, всего чаще, наиболее ин­тенсивно? В удовлетворении трансформаций какой именно потребности он наиболее изобретателен, находчив, настой­чив, смел? Веления какой потребности он исполняет с наи­большей охотой, с удовольствием, с любовью, со вкусом? Все это — вопросы о сверхсознании. Ответы на них ука­зывают на доминанту. Иногда — временную, как это бы­вает при влюбленности. Но в конкуренции и соревнова­нии временных доминант выявляется главенствующая. Для удовлетворения ее велений человек, во-первых, стре­мится использовать все средства, допускаемые нормой, по­этому он сознательно ищет эти средства; во-вторых, ри­скует их новым, смелым применением; и наконец, пере­доверяет поиски и применение средств своему сверхсозна­нию. Продуктивность же сверхсознания определяется тем, на какой объем и сколь прочных и объективных знаний оно опирается.

Хотя сверхсознание активируется любой потребностью, ставшей главенствующей доминантой, оно определенно связано с их ненасытностью. Вот почему слабые, угасаю­щие или удовлетворенные потребности — плохая основа для деятельности интуиции. «Будьте страстны в ваших иска­ниях», — призывал Павлов. Существуют и человеческие потребности, ненасытность которых не встречает непре­одолимых преград. Это — социальные потребности «для других», идеальные потребности познания и вспомогатель­ная потребность в вооружении. Их удовлетворением лю­бой человек может заниматься практически всю жизнь. Именно им в большей мере, чем всем остальным, служит сверхсознание.

Чем конкретно вооружает теорию в практику уточне­ние представлений о личности, которому мы посвятили предыдущие страницы?

Первое. Ни одну из рассмотренных выше исходных по­требностей нельзя безнаказанно игнорировать. Иногда (особенно часто это бывает с молодыми людьми) кажется: «Все люди эгоисты, каждый хлопочет о себе; забота о ближнем, альтруизм — досужая выдумка...», и человек многие годы пытается обходиться без удовлетворения по­требности «для других», а то, что он все-таки делает по природной доброте, он рассматривает как свою сла­бость или глупость. Но потребность «для других» неунич-тожима. В итоге человек приходит к удручающему одино­честву, к созерцанию своей полной ненужности. Остается заводить домашнюю собачку, чтобы было о ком забо­титься.

Второе. Занимать достойное место в человеческом об­ществе может лишь тот, кто нужен этому обществу. А ну­жен он в той мере, в какой успешно выполняет работу, полезную для общества. Если главенствующая потреб­ность человека заключается в улучшении своего места в обществе, то самый падежный путь к ее удовлетворению есть неуклонное повышение своей деловой квалификации. Впрочем, для творческой деятельности, для удовлетворе­ния идеальных потребностей одной квалификации как за­паса навыков и знаний мало. Недостаточно и врожденной вооруженности, которую называют способностью (такой вооруженностью для музыкальных искусств является слух, для сценических — внешность и т. п.). Творчество требует вооруженности сверхсознанием. Поэтому высокая квалификация здесь невозможна без соответствующей гла­венствующей потребности — достаточно устойчивой доми­нанты. Не может стать хорошим педагогом человек, не любящий детей, какими бы знаниями и умениями он ни обладал. Нельзя стать ученым, не дорожа истиной, художником — не дорожа правдой. Ремесло в таких профес­сиях не приносит настоящей радости, в лучшем случае оно дает лишь ревнивое и завистливое самодовольство. Выбор профессии только но расчету, вероятно, так же опасен, как расчетливый брак.

Третий круг вопросов касается соответствия средств удовлетворения потребностей (вооруженности) их содер­жанию. Можно всей душой быть преданным тому или иному делу и губить его своим неумением; можно само­забвенно любить человека и калечить ему жизнь. Так бывает с матерями, беззаветно отдающими все силы ре­бенку и формирующими в нем черствого эгоиста. В повсе­дневном общении с людьми — особенно близкими, связан­ными родством и повседневными бытовыми заботами,— многим (если не всем нам) свойственно «мерить каждого на свой аршин». Своя потребность кажется безусловно присущей другим; отсутствующая, наоборот, представля­ется несуществующей вовсе. Отсюда множество неправо­мерных притязаний, горьких разочарований и недоумений.

Изучение человека приводит к убеждению в его бес­конечной сложности, к убеждению в уникальности каж­дой отдельной личности. По-настоящему познать личность другого можно, только любя его, если любовь к тому же вооружена строго объективным знанием. В этом пара­доксе — суть подлинного человековедения.

# ВОССОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ

# ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ АКТЕРА

*Ренуара спросили: «Мэтр, что важнее в ис­кусстве—*

*«как» или «что»?». Ренуар ответил: «Важно — кто»[[99]](#footnote-100)*

Как мы уже упоминали выше, индивидуальность че­ловека — его темперамент, характер, личность — является предметом той специфической разновидности познава­тельной деятельности, которая именуется искусством. Наиболее очевидно это обнаруживается в литературе и сценическом творчестве, где одну из важнейших задач представляет создание *характеров* действующих в худо­жественном произведении *лиц*.

Стремление к творческим контактам между театраль­ным искусством и наукой о деятельности мозга пред­ставляет своеобразную традицию отечественной куль­туры. Есть нечто знаменательное в том, что рядом с ра­ботой «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова мы находим план статьи А. Н. Островского «Об актерах по Сеченову», а теория высшей нервной деятельности и метод условных рефлексов И. П. Павлова соседствуют в историческом времени с системой и «методом физиче­ских действий» К. С. Станиславского.

Теория Павлова привлекла к себе пристальное вни­мание Станиславского. Он читает классическое произве­дение Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изу­чения высшей нервной деятельности (поведения) жи­вотных». На репетициях, в беседах с актерами Стани­славский начинает употреблять физиологические тер­мины. Когда Л. М. Леонидов заметил, что в трактовке Константином Сергеевичем образа профессора Бородина из пьесы «Страх» есть «что-то от Павлова», Станислав­ский ответил ему: «До Павлова нам далеко. Но учение его к нашей актерской науке применимо»[[100]](#footnote-101).

В 1933 г. артист А. Э. Ашанин (Шидловский) орга­низовал при Всероссийском театральном обществе лабо­раторию по изучению творчества актера. Эту лаборато­рию возглавили ближайшие помощники Павлова Н. А. Подкопав В. И. Павлов. Через Ашанина И. П. Павлов передал свое согласие познакомиться с ру­кописью К. С. Станиславского, за что Станиславский поблагодарил Ивана Петровича в письме от 27 октября 1934 г.[[101]](#footnote-102) К сожалению, смерть Павлова оборвала кон­такты между двумя великими современниками — обще­ние, которое сулило столь многое и для теории высшей нервной деятельности, и для сценического искусства.

Мимо достижений павловской школы не прошел и В. Э. Мейерхольд, В связи с юбилеем Ивана Петровича Мейерхольд направил Павлову поздравительную теле­грамму, где отметил значение его трудов для теории актерского творчества. В ответном письме Павлов спе­циально остановился на опасности упрощения в деле пе­реноса добытых в лаборатории фактов па такую сложную область человеческой деятельности, какой является об­ласть художественного творчества. Павлов особо под­черкнул индивидуальную неповторимость образов, соз­данных артистом, значение той «чрезвычайной при­бавки», которую принято называть субъективным эле­ментом, привносимым художником в свое произведение.

В разное время интерес к проблемам, возникающим па рубежах психофизиологии и сценического искусства, проявляли физиологи Л. А. Орбели, П. К. Анохин, Ю. П. Фролов, Э. Ш. Айрапетянц, И. И. Короткий, психо­логи Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, П. М. Якобсон, режиссеры В. О. Топорков, А. Д. Дикий, Ю. А. Завадский, Г. А. Товстоногов, О. Н. Ефремов.

Авторы настоящей книги отнюдь не претендуют ни на всесторонний анализ этих «пограничных» проблем, ни на обстоятельное изложение истории вопроса. Каждый из нас пришел к необходимости контакта своим путем, по­лучившим отражение в работах, ссылки на которые читатель не раз встречал в этой книге. Мы имели общий исходный пункт в виде «искусства сценического пере­живания» К. С. Станиславского и открытого им «метода физических действий». Сообразно своим профессиональ­ным интересам один из нас (П. М. Ершов) много лет за­нимается изучением действий как материала актерского искусства, сопоставимого с цветом в живописи, словом в литературе, звуком в музыке, движениями в балете. Интересы второго (П. В. Симонова) привлечены к сфере эмоций как к показателю овладения актером потребно­стями (мотивациями, стремлениями) изображаемого им лица.

Сфера художественного творчества так тесно связана с человеческими переживаниями, что искусство давно и справедливо стало пробным камнем для любой концеп­ции, претендующей на сколько-нибудь широкое обобще­ние в области психофизиологии эмоций. Если вновь предлагаемая теория эмоций ничего не меняет и не уточ­няет в нашем понимании природы художественного твор­чества, это сразу же ставит под сомнение продуктивность и научную состоятельность новой концепции. Вот по­чему предложив в 1964 г. «информационную теорию эмоций», один из нас (П. В. Симонов) не мог уклониться от ее проверки искусством.

Как мы постараемся показать ниже, далеко не все в «гармонии» доступно «алгебре» логического анализа. А вот для самой «алгебры» «гармония» — суровый судья, беспощадно вскрывающий бесплодность паукообразной схоластики...

Но творчество и технология («гармония» и «алгебра») в искусстве теснейшим образом взаимосвязаны и по­стоянно переплетаются как в процессе, так и в резуль­татах художественной деятельности. Крен в ту или дру­гую сторону дает то стихийную эмоциональность, легко выветривающуюся в беспомощность благих порывов, то рационализм в рассудочность, уводящие искусство от его реальных жизненных основ в сферу условных знаков, ребусов в абстрактных умозрений. Технология и взлеты творческого вдохновения могут рассматриваться по от­дельности (так чаще всего и бывает!), но авторы пола­гают, что не менее актуален анализ взаимосвязи этих двух, столь непохожих один на другой полюсов художе­ственной практики, рассмотрение того, как сказывается один из этих полюсов на функционировании другого. Речь идет о границах рационального и о том, что лежит вне этих границ.

«Чем дольше занимаюсь преподаванием, — пишет Г. А. Товстоногов, — чем больше становится учеников, тем чаще приходится задумываться о том, как все-таки неправильно мы их учим ... главное и чуть ли не един­ственное достоинство системы обучения искусству те­атра — наличие методологии, оставленной нам Станислав­ским ... использование открытых Станиславским вечных законов поведения человека на сцене… Но вот беда: су­ществующий ныне способ обучения но позволяет нам добиться полного постижения молодежью основ режиссерского мастерства»[[102]](#footnote-103). «Вечные законы поведения» должны обогащаться и уточняться новыми знаниями. В этом заключена, по мысли авторов, перспектива совер­шенствования театральной педагогики. Едва ли она мо­жет быть продуктивной, оставаясь в неподвижности.

Играющий актер осуществляет действия, цель которых включает в себя цели изображаемого им на сцене лица, но не тождественна им. В этом и заключается свое­образие актерской игры. Оставаясь собой, актер должен стать другим. Не превратиться в другого, а перевопло­титься. В перевоплощении самая глубокая сущность ак­терского искусства. «Играть роль» — значит предстать перед зрителем не самим собой, а кем-то другим. Такую игру и называют перевоплощением. Среди современных актеров некоторые перевоплощаются до полной неузна­ваемости. Так, О. П. Табакова в одном из спектаклей было трудно узнать в роли пикантной буфетчицы, а есть и такие, как О. Н. Ефремов, — в самых разных ролях он, казалось бы, меняется мало.

Разной практике соответствуют и разные теории. Согласно одним, актеру никогда не следует забывать, что он играет роль, что он не есть то лицо, которое изображает, что он должен постоянно и твердо держаться того или иного отношения к этому лицу, и зритель должен всегда это видеть. Такой теории противостоят убеждения обратные: актер должен вполне и искренне верить в то, что он — это лицо; актер должен влезть в его кожу, усвоить все, что ему свойственно, и жить вполне и це­лостно его жизнью, — эта традиция идет от Гоголя, Щеп­кина и Станиславского. Таковы крайние взгляды. Они формулируются по-разному и более или менее катего­рично. Между сторонниками крайностей не прекращается борьба на протяжении чуть ли не всей истории театра.

Актерская практика свидетельствует о том, что высо­ким искусством бывает перевоплощение самых разных степеней; мера перевоплощения, следовательно, не может служить мерой художественной ценности и не должна поэтому регламентироваться. Но тем не менее вместе с полным исчезновением перевоплощения исчезает и ак­терское искусство; оно исчезает и в тех случаях, когда перевоплощение переходит в превращение — когда делается самоцелью или поражает как совершившийся факт. Отсюда следует: хотя перевоплощение является обяза­тельной принадлежностью и особенностью актерского искусства, оно не является его целью. Перевоплощение —

специфическое, присущее актерскому искусству (и только ему!) средство. О нем часто и горячо спорят как раз потому, что средство это одни принимают за цель, а другие, видя иные цели, отказываются от него вовсе; они забывают, что средство это обязательно, что актер­ское искусство не может существовать без его приме­нения.

Знание природы перевоплощения нужно не для уни­фикации актерского искусства, не для пропаганды какого-то одного направления в нем, одной школы, а для богатства и разнообразия форм и направлений в грани­цах этого искусства, для уяснения широты его возмож­ностей. Не так давно максимальное перевоплощение многими почиталось чуть ли не единственной целью и назначением актерского искусства. Теперь оно чаще со­вершенно отвергается. А задача заключается в умелом и каждый раз творческом его использовании. Для этого нужно знать, что оно такое. Что значит, как возникает и в чем заключается — как объективно происходит?

Ребенок легко может представить себя танком, желез­нодорожным составом, собачкой — всем, что подскажет ему минутная вольная фантазия; его партнеры по игре без затруднений принимают подобные представления. Если актер перевоплотится в танк или железнодорожный состав, то он предстанет, в сущности, таким ребенком. Он перевоплотится в этого ребенка или в душевноболь­ного, воображающего себя тем или другим. Актер не мо­жет предстать перед другими ничем, кроме человека. В нем всегда останется узнаваем человек. Если в самом условном представлении актеру надлежит предстать какой-либо стихийной силой, символом, божеством, духом, зверем, существом сказочным, то все то, чем именно он должен предстать, прежде всего очеловечивается — так или иначе уподобляется человеку. Значит, перевоплоще­ние есть перевоплощение в человека же. Никакого иного перевоплощения нет и быть не может. Человек, обладающий одними качествами, предстает человеком же, обладающим другими качествами. С этого начинается, если можно так выразиться, «теория перевоплощения».

Каковы же то качества, каких человек должен ли­шиться и каковы те, какие он должен приобрести, чтобы перевоплощение состоялось?

Качеств человека, которые подлежат перестройке, пе­рекомпоновке для перевоплощения, бесконечное множе­ство. Что представляет собой данный человек? Чего он хочет? К чему стремится? Для чего? Что он делает, чтоб достичь своей цели и почему он делает именно это, а не что-то другое? Когда и какие желания у него возникают? Все это — вопросы о действии. Оно может пониматься при этом в разных объемах — в пределах текущей ми­нуты, данного часа, дня, года, дел семейных, служебных, общественных и т. д. — таких вопросов может быть мно­жество. При достаточной полноте ответов в них будет содержаться и самая полная характеристика. Она обна­ружится в его целях и в способах, к каким он прибегает для их достижения, — даже то, о чем он сам не подозре­вает, что готов отрицать в себе, что тщательно скрывает, о чем лжет. Что не проявилось в намерениях, в целях, того просто не существует.

Действия человека характеризуют его вполне кон­кретно, а потому несравнимо полнее любой другой харак­теристики, не только анкетной или словесной житейско-бытовой, но даже и словесно-художественной — той, ка­кая содержится в литературном произведении. В дейст­виях объективируется внутренний мир человека как реально происходящий процесс, со всем тем, что, по его собственным представлениям, ему вовсе и не свойственно.

Так, разве скупой не считает себя слишком щедрым или расточительным? Злой — слишком добрым? Добрый — не­допустимо эгоистичным? Разве можно скрыть любовь или ненависть?

Действие характеризует человека своим реальным, фактическим протеканием — не только тем, что человек делает, но и тем, как он это делает. Внутренний мир че­ловека раскрывается преимущественно в контексте мно­гих и разных его дел, и перевоплощение проявляется поэтому в поведении относительно длительном.

Может ли актер в каких бы то ни было обстоятельствах совершенно расстаться со своими собственными, присущими ему, действиями? Нет. Хотя бы потому, что человек ежеминутно совершает множество действий со­вершенно непроизвольно, не отдавая себе в том отчета. Может ли актер совершенно усвоить какие бы то ни было чужие заданные ему действия? Очевидно, тоже нет. Ведь для этого ему нужно было бы перестать быть самим собой, лишиться всего своего жизненного опыта, всех своих индивидуальных задатков. Значит, в перевоплощении происходит устранение актером каких-то своих соб­ственных действий и усвоение каких-то несвойственных ему действий.

В актерском перевоплощении бывает так: всего лишь одна черта образа, чуждая актеру, вносится им в свою собственную логику поведения. Если черта эта — все­поглощающая страсть, то полное и яркое перевоплоще­ние налицо. Образ достоверен, актер неузнаваем. Так в МХАТ в 1930 г. В. А. Синицын играл Яго в «Отелло»; так в 1939 г. П. О. Топорков играл Оргона в «Тартюфе», Но бывает и по-другому. Актер остается совершенно самим собой, но во все, что бы он ни делал по роли, он вноси и некое чуть-чуть, которое делает его действия откровенной демонстрацией того, что он на грани перево­площения. Оно неуловимо, но очевидно. Налицо и убеди­тельность поведения: поскольку действия актера остались ею собственными, натуральными, и возникает возмож­ность полного перевоплощения, которое, правда, не осу­ществляется. Такое своеобразное перевоплощение как будто бы без перевоплощения можно было видеть в «Принцессе Турандот» Евг. Вахтангова, в «Голом ко­роле» Шварца в театре «Современник». Оно восприни­мается обычно как некая театральная праздничность, приподнятость, как веселая дерзость искусства, пренебрегаю­щая бытом, — «актеры» перевоплотились в «артистов», а они видят жизнь своеобразно...

Таковы крайности. От усвоенной актером, первона­чально чуждой ему, характеризующей образ всепоглощаю­щей страсти, которую актер сделал своей страстью, под­чинив ей и слив с ней свою собственную жизненную ло­гику, до неоспоримого права и возможности практически не реализуемого перевоплощения. На одном конце — актер, по собственному заказу и со своими целями живущий чуждой ему жизнью; на другом — актер, мгновенно и легко входящий в чужую жизнь и так же легко ее по­кидающий, возвращающийся к логике своей собственной, вполне индивидуальной. Здесь — перевоплощение в того, кто любит актерское искусство и владеет им, кто может свободно и уверенно перевоплощаться. Между этими крайностями — бесконечное разнообразие.

Иногда артист перевоплощается в один и тот же образ, но показывает его все с новых и новых сторон и в разных проявлениях, как Ч. Чаплин и А. Райкин. Иногда актер в каждой новой роли неузнаваем; иногда он кажется почти не изменившимся. Видимо, каждый творит так, как того требует его дарование.

Критерий успешности перевоплощения, в сущности, прост. Он сводится к ответам на вопросы: открывает ли актер, перевоплощаясь, нечто новое в жизни и в человеке? Убедительно ли это открытие? Достаточна ли и какова его значительность? А велики ли изменения в своей логике действий, сделанные для этого актером, — это имеет значение, в сущности, второстепенное. Но открытие нового в человеке с помощью актерского искусства совершенно без перевоплощения произойти не может. Такова его при­рода.

Когда актер подгоняет себя к заранее сочиненному образу, — образ не получается... Когда он не думает об образе, — он перевоплощается. Стремится к переживаниям — они не придут; забудет о них — может быть, при­дут. Не в этом ли главное отличие профессионала от лю­бителя, дилетанта? Они не ведают этой тайны искусства, им кажется, что нужно точно знать искомый результат, как во всех других практических делах. К. С. Станислав­ский утверждал, что в достигнутом перевоплощении актер сам не знает, «где Я и где образ». Налицо и тот, и другой. А границу если и можно провести, то, пожалуй, только в «двухэтажности» эмоций: практически там, где радость, наслаждение актера, отмечают успех воспроизведения подлинности чувств, переживаемых сценическим персо­нажем. Один («Я») строит поведение, а другой («образ») его осуществляет. Но в актерском искусстве осуществле­ние никогда полностью не совпадает с планом поведения. План меняется в процессе его осуществления, хотя он все же остается исполнением роли. Потому и неизвестно, где «Я» и где «образ».

В этом и заключается чуть ли не главный секрет ак­терского творчества: перевоплощение — это, в сущности, путь, направленный к нему, а не само перевоплощение. Актер на спектакле каждый раз достигает его заново, и работа его над ролью есть, по сути дела, выработка оп­ределенного направления к конечной цели.

Полководец сказал: «Заботься о том, чтоб не быть битым, — победа придет сама». В актерском искусство такая оборонительная позиция, казалось бы, не может сулить хорошего. На деле та же заповедь имеет другое, не оборонительное, а наступательное значение: не позволяй сбить себя с верного пути какими бы то ни было соблазнами и не уклоняйся от него — образ будет. Он будет тот и такой, какой тебе сегодня доступен на взятом направлении, если ты в нем уверен и если ты движешься. Завтра ты будешь способен на большее. Так умножаются возможности художника, так растет актер и его искусство, так совершенствуется мастерство и так реализуется перевоплощение. По остроумному определению М. Н. Кедрова «актер подобен велосипедисту — либо движется, либо лежит на боку».

Действие непримиримо со статической определенно­стью, а недоразумения часто возникают потому, что одни жаждут именно ее любой ценой, другие — во имя неуло­вимых оттенков и стремительности действия чураются всякой определенности. К. С. Станиславский нашел динамическую определенность в природе актерского искус­ства, и в перевоплощении в частности. В актерском ис­кусстве она заключена в принципе «физического дейст­вии», в перевоплощении — в краткой формуле: «от себя к образу». Когда к формуле этой добавляют «и как можно дальше», то в этом иногда сквозит статическое предста­вление о конечной станции, где, наконец, можно отдохнуть от трудов и куда нужно поэтому поскорее добраться. Но «как можно дальше» уже содержится в формуле Стани­славского, в ней выражен объективный закон. Как тако­вой, он проявляется каждый раз своеобразно. Поэтому он не похож на рецепт и несовместим с ремесленными приемами. В самом деле: что значит «от себя»? Нет двух людей одинаковых — от чего же «в себе»? Что значит «к образу»? Его внутренний мир обнаруживается в дей­ствиях, а действия определяются целями, — к каким же целям образа нужно идти от себя?

Принцип физического действия уточняет формулу перевоплощения: от своих совершенно реальных (физи­ческих) действий, от своего жизненного поведения к це­пям образа, все более значительным — тем, которые де­лают его, образ, заслуживающим интереса. Это — цели далекие, и «чем дальше, тем лучше» — к сверхзадаче роли. Но может ли увидеть, найти и воплотить такие цели человек без достаточно широкого кругозора? Чтобы создать путем перевоплощения образ человека с широ­кими горизонтами и далекими целями, актер должен сам обладать широким кругозором и стремиться к далеким целям. Поэтому в произведении актерского искусства всегда воплощается личность самого актера. Этот закон К. С. Станиславский назвал «сверх-сверхзадачей арти­ста» — именно она в конечном итоге определяет: сколь далекую и какую именно цель найдет он в роли как сверхзадачу образа.

Бывают люди с грандиозными, но плохо обоснован­ными целями, бывают — с самыми скромными, но хо­рошо обеспеченными. Масштаб человека, если можно так выразиться, определяется содержанием и размерами его устремлений, а также и степенью их обоснованности. У одних средства обгоняют цель, у других — цель не со­ответствует имеющимся средствам. Сами по себе энту­зиазм, одержимость и благие намерения бессильны. Идеальные устремления и увлечения художника реали­зуются в его произведениях лишь в той мере, в какой он владеет средствами своего искусства. Нормальный чело­век едва ли может долго заниматься целью, в недости­жимости которой он убедился. Такая цель неизбежно трансформируется, заменяется другой, более близкой и реально достижимой. Так вследствие недостатка средств, цели приближаются и упрощаются. Так художник иногда постепенно превращается в ремесленника.

И наоборот, само достижение цели (даже одно знание средств ее достижения и того, что она практически до­стижима) ставит новую цель, более значительную, более далекую. Поэтому вооруженность средствами, владение ими и знание их укрупняют цель. Сказанное справедливо и для создаваемого актером образа. Он значителен, по­скольку далеки его цели, а им надлежит беспрерывно удаляться по мере того, как актер логикой своего поведе­ния в роли все более точно, правдиво и ярко реализует борьбу за их достижение. К. С. Станиславский советовал в работе над ролью пользоваться «временной» сверхза­дачей. По сути дела, любая сверхзадача — временна, даже та, которая представляется окончательной. Она неиз­бежно и бесконечно уточняется и совершенствуется, при­ближаясь к недостижимому идеалу. Разумеется, если артист не уподобился велосипедисту лежащему...

Динамичность законов актерского творчества коре­нится в том, что все они относятся к действию, т. е. к про­цессу, каждое мгновение которого не тождественно пре­дыдущему и последующему. В этом причина некоторой неизбежной неопределенности в фиксации и даже по­нимании конкретного действия. Это относится и к поня­тию «задача». Достигнув решения одной или убедившись в ее недостижимости в данных условиях, актер сейчас же переходит к следующей; их перспектива и ведет его к сверхзадаче.

С чего практически начинается маршрут «от себя к образу»? Казалось бы, относительно просто: от своих представлений об образе. Свои возможности — это умение действовать, представления об образе — представления о действиях изображаемого лица. Такое начало называется «от себя» потому, что в представлениях о действиях пер­сонажа найдено звено, свойственное и самому актеру. Этот «общий знаменатель» не всегда находится легко и сразу. Тут нужны проницательность и профессиональ­ный опыт, а часто и помощь режиссера. Поиски бывают более или менее трудными в зависимости от уровня мастерства актера (насколько свободно он владеет дейст­вием) и от конкретности понимания образа (насколько ясно, отчетливо актер видит за текстом роли и пьесы повеление персонажа). Первое из этих условий — профес­сионально-техническая квалификация актера; второе — его художественный, гражданский и философский круго­зор, его интуиция.

К. С. Станиславский начинал работу над ролью Чичи­кова с П. О. Топорковым с «умения торговать» — умения дешево купить и дорого продать. Это умение было необ­ходимо артисту, и оно же составляло важную черту ха­рактера и поведения персонажа. Работа в. О. Топоркова над ролью Оргона в «Тартюфе» начиналась с умения «боготворить живого человека». Это — «общий знамена­тель» другого перевоплощения. В работе над ролью Биткова в «Последних днях» М. Булгакова «общим знамена­телем» В. О. Топоркову служило умение «подслушивать и подглядывать».

Во всех этих случаях речь идет о тех качествах ар­тиста, которые нужно не убирать для перевоплощения как лишние, а, наоборот, укреплять и культивировать, чтобы на основе свойственного артисту возникло («вы­росло») и то, что артисту совершенно несвойственно. Тогда из его действий само уйдет то, что должно уйти для данного перевоплощения. Так возник одержимый не­навистью красавец Яго — арт. В. А. Синицын (МХАТ, 1930) и феноменально легкомысленный Хлестаков — М. А. Чехов (МХАТ, 1921). В подобных перевоплоще­ниях кажется невероятным первый ход «от себя». В нем, видимо, кроется один из профессиональных секретов.

К. С. Станиславский положил в основу «сознательной психотехники артиста» метод физических действий, в ос­нове которого лежит представление о действии как явле­нии одновременно психическом и физическом, выражаю­щемся в мышечном движении. «Подлинный артист должен не передразнивать внешние проявления страсти, не копи­ровать внешние образы, не наигрывать механически, со­гласно актерскому ритуалу, а подлинно, — по-человечески действовать. Нельзя играть страсти и образы, а надо дей­ствовать под влиянием страстей и в образе»[[103]](#footnote-104). Действиями «под влиянием страстей и в образе» Станиславский назы­вал действия актера, мотивированные потребностями изображаемого им лица.

В самом деле, движение становится действием только в том случае, если оно направлено на удовлетворение какой-либо потребности. Это хорошо понимал уже И. М. Сеченов: «Жизненные потребности родят хотения, и уже эти ведут за собою действия; хотение будет тогда мотивом или целью, а движения — действием или сред­ством достижения цели. Без хотения как мотива или им­пульса движение было бы вообще бессмысленно»[[104]](#footnote-105). Таким образом, «метод физических действий» требует усвоения потребностей, мотивов, целей изображаемого лица. Только они способны сделать сценическое действие «внутренне обоснованным, логичным, последовательным и возможным

в действительности»[[105]](#footnote-106), только благодаря им «сама собою создается истина страстей или правдоподобие чувства»[[106]](#footnote-107).

Воспроизводя действия изображаемого лица, направ­ленные на удовлетворение его (изображаемого лица) по­требностей, актер включает мощный аппарат подсознания, те непроизвольные, не контролируемые сознанием детали действий, те приспособления и оттенки их физического осуществления в движениях, которые принадлежат сфере подсознания в реальном поведении человека. В мозгу не существует нейрональной копии двигательного акта, но лишь его обобщенная схема — энграмма, «двигательная задача». Любой двигательный акт каждый раз организу­ется заново, причем его формирование в значительной мере протекает на уровне подсознания.

Почему Станиславский сделал все же акцент на дей­ствии, а не на мотивации этого действия, хотя он и стре­мился к уточнению мотивов путем формулировки за­дач -куска, сцены, роли в целом? Да потому, что выя­снить подлинные мотивы поведения сценического персо­нажа не менее трудно, чем определить мотивы поведения человека в реальной жизни. При изучении мотивов од­новременно отказали оба испытанных метода классической психологии: наблюдение за внешним поведением другого человека и анализ своего собственного духовного мира. В сфере исследования потребностей действие перестает быть объективным критерием, поскольку один и тот же поступок может быть продиктован самыми различными побуждениями. С другой стороны, мы далеко не в полной мере осознаем истинные мотивы наших собственных по­ступков и принимаемых нами решений. Проникновение в сферу мотивов изображаемого лица носит во многом характер интуитивной догадки, несознаваемого замыка­ния внутреннего мира персонажа на свой собственный внутренний мир.

Каким же образом актер овладевает потребностями изображаемого лица? «Что он Гекубе? Что ему Ге­куба?»— этот вопрос Гамлета концентрирует в себе самую сокровенную суть увлечения актера интересами и по­требностями играемой роли.

Ради чего актер выходит на сцену, и почему он вос­производит поведение другого лица? Во имя своей сверх­сверхзадачи. Сверх-сверхзадача — это страстное и глубоко

личное стремление художника познать нечто чрезвычайно важное о людях, об окружающем мире, о правде и спра­ведливости, о добре и зле, а затем поделиться этим зна­нием с другими (читателями, слушателями, зрителями), чтобы получить у них подтверждение истинности резуль­татов своего познания. «Отчасти искусство заключает в себе сообщение, но лишь отчасти, — заметил Уильям Голдинг. — В остальном — это открытие… И все же я... твердо верю, что искусство, не заключающее в себе со­общения, бесполезно»[[107]](#footnote-108). Л. Н, Толстой писал своему сыну: «У тебя, и думаю, есть то, что называется талантом и что очень обыкновенно и не ценно, то есть способность видеть, замечать и передавать, но до сих пор в твоих рассказах не видно еще *потребности* внутренней, задушевной *вы­сказаться*…» (подчеркнуто нами). Чем ближе сообщае­мая артистом правда о мире к потребности и надеждам зрителя постичь эту правду, тем сильнее отклик зритель­ного зала, тем очевиднее эффект сопереживания. Сверх­сверхзадача художника — подлинный, главный и основной источник энергии, побуждающий актера искать сверх­задачу сценического персонажа, а далее — осуществлять ее в сквозном действии, пронизывающем все его поведе­ние. Профессиональное умение артиста трансформировать свою художническую потребность познания в потребности изображаемого лица и составляет основу перевоплощения.

Рекомендацию Станиславского «идти от себя» нужно понимать поэтому не только как совет начинать работу над ролью с «общего знаменателя», о котором шла речь выше, но и как напоминание о том, что вся деятельность актера, в сущности, продиктована его собственной сверх­сверхзадачей, ей служит и ею обусловлена. Сверхзадача осуществляет свое руководство поведением артиста в зна­чительной степени благодаря сверхсознанию. Именно сверхсознание направляет поиск, активизирует работу сознания (разум, логику) и мобилизует автоматизирован­ные навыки подсознания.

Процесс перевоплощения, осуществляемый с помощью подсознания не только в искусстве, но и вне его, хорошо описал Вадим Кожевников на примере советского развед­чика Белова, вынужденного действовать в облике Иоганна Вайса: «За эти месяцы с Иоганна как бы свалилось то неимоверное напряжение, в котором он неотступно дер­жал себя все время, чтобы быть таким, как окружающие его люди, на чьи повадки, привычки, взгляды, особенности наложила отпечаток целая историческая полоса сущест­вования нации, ее бытовой, социальный уклад. Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую предполагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала душевной собственностью, нужно было вместе с тем ничего не утра­тить от себя самого. Ничего своего не уступить Вайсу. Ибо Иоганн Вайс должен быть не только жизнеспособен как самостоятельная личность, но полностью подчиняться тому, кто надел на себя его личину»[[108]](#footnote-109). Иоганн Вайс так достоверен и правдоподобен в своей борьбе за место в гитлеровской иерархии именно потому, что повышение но службе фашиста Иоганна Вайса дает возможность разведчику Белову лучше выполнить свой долг борца за свободу и независимость Советской Родины.

Пример, описанный В. Кожевниковым, поучителен во многих отношениях. Когда и почему с Белова «свалилось неимоверное напряжение»? И в чем оно — это напряже­ние? Оно в необходимости сознательно совершать и со­знанием контролировать в своем поведении то, что в обыч­ных жизненных условиях осуществляется без участия сознания и чего только в данных, исключительных усло­виях потребовали сверхзадача разведчика. Это неимовер­ное напряжение «свалилось», когда его ценой Белов до­стиг полной согласованности в работе сверхсознания, сознания и подсознания, когда возникло перевоплощение советского разведчика в фашиста Иоганна Вайса.

Что же в этом созданном искусственно поведении от­носится к сознанию, что к подсознанию и что к сверх­сознанию? Ответить на этот вопрос помогает приведенное выше определение сознания как знания средств, которые могут быть переданы другому, а значит, — определены, обозначены и выражены словами или образами.

Все, что мотивируется в процессе осуществления, что решается при выборе средств достижения каждой кон­кретной цели, что поэтому анализируется, сопоставляется, взвешивается и оценивается — все это относится к созна­нию и к звеньям сознательного поведения. Все, что может быть мотивировано, объяснено и обозначено, но не ну­ждается во всем этом, что вошло в привычку, в стереотип, относится к подсознанию. Это — обширная область тех умений, которые когда-то были приобретены сознательно и, может быть, ценой больших усилий, но, будучи усво­ены, уже не нуждаются в специальной заботе, во внима­нии и в усилиях. Все, что не может быть мотивировано, но само мотивирует, относится к сверхсознанию. Оно не отвечает на вопрос «зачем?», но диктует, требует насущ­ности, лежит за любым побуждением, как его исходная Причина. Сверхсознание задает работу сознанию, которое всегда, в сущности, занято тем, что обогащает, уточняет, расширяет, развивает и проверяет заданное интуицией. С познанием связаны чуть ли не все сферы человеческой деятельности, и в сложном составе каждой конкретной человеческой потребности содержится обычно некоторая доля потребности познания. Поэтому человеческое пове­дение не обходится без интуиции. Она подсказывает вле­чения и привязанности, настороженность и отвращение, радостные предвкушения и тревожные опасения, а соз­нание уясняет связи интуитивных догадок с объективной действительностью и вырабатывает знания и умения — плоды опыта в арсенале подсознания.

Но если во всех других сферах человеческой деятель­ности и в житейском обиходе интуиция играет все же вспомогательную роль, то в искусстве она выступает не как смутная догадка и предположительное предчувствие, а как категорическая уверенность, немотивированное про­зрение, как повелитель, диктующий логику воплощения. В актерском искусстве трансформация сверх-сверхзадачи артиста в мотивы поведения изображаемого лица обес­печивается механизмами сверхсознания. «Наиболее мо­гущественными маяками для возбуждения подсознатель­ного творчества органической природы являются сверх­задача и сквозное действие»[[109]](#footnote-110). «Я много работаю и счи­таю, что ничего больше нет: сверхзадача и сквозное действие — вот главное в искусстве»[[110]](#footnote-111). Это относится и к сценическому образу (сверхзадача) и к самому творя­щему артисту, создающему образ (сверх-сверхзадача).

Одним из каналов связи между сверхзадачей и созна­нием служит процесс ее рабочего наименования. «Выбор наименования сверхзадачи является чрезвычайно важным моментом, дающим смысл и направление всей работе»[[111]](#footnote-112). Однако наименование служит лишь каналом связи интуиции и сознания, не могущим претендовать на окончатель­ность. «Я сказал то, что сказал» — вот ответ художника на вопрос о содержании его произведения, непереводи­мого с языка образов на язык логики[[112]](#footnote-113). Именно непере­водимость произведения искусства на язык словесных определений, отражающих лишь какие-то стороны сверх­задачи, но никогда не исчерпывающих ее истинного со­держания, делает сверхзадачу результатом работы сверхсознания. Другим объектом деятельности сверхсознания является превращение сверхзадачи образа в процесс практически выполняемого актером сквозного действия. Здесь постепенно все большую роль играет сознание, ра­зум, логика, здравый смысл. Здесь обнаруживаются и про­фессионально-технические умения, знания и навыки ар­тиста, а также присущие ему индивидуальные свойства.

Теперь мы можем полностью обозреть этапы актерского перевоплощения. Через контролируемые сознанием дей­ствия актер не отождествляет себя с изображаемым ли­цом, но проникает в сферу движущих им мотивов (область, в значительной мере принадлежащая сознанию и подсознанию) вплоть до сверхзадачи образа (область сверхсознания) во имя решения своей сверх-сверхзадачи, т. е, удовлетворения своей художнической потребности. Разумеется, между сознанием, подсознанием и сверхсо­знанием нет жестких разграничительных линий. Эти раз­новидности высшей нервной деятельности человека тесно взаимодействуют друг с другом, их границы смещаются, их сферы влияния находятся в постоянном движении.

Осуществляемые в процессе перевоплощения дей­ствия — их называют «сценическими» — отличаются от любых обиходно-житейских действий тем, что возникают по заказу, как если бы их вызвала реальная необходи­мость. Такое «если бы» — первый и, может быть, един­ственный ясный признак природных актерских способно­стей. Многие люди не могут поверить в воображаемые обстоятельства, рождающие цель, поскольку этих обстоя­тельств в действительности нет. Этой вере научить нельзя. Но если у человека не может возникнуть задан­ная воображением цель, то не может возникнуть и сцени­ческое действие, как бы ни было оно примитивно. Он мо­жет научиться совершать самые трудные и сложные дей­ствия, продиктованные реальной надобностью, но неспо­собен к простейшему сценическому.

Лишенный актерских способностей человек может только изображать действие, т. е. совершать движения, подобные тем, какие он совершал бы, если бы цель у него была. Такие движения доступны, разумеется, лю­бому. Но всякое изображение действия отличается от действия, подчиненного возникшей цели. Нужна, впрочем, зоркость, чтобы увидеть это отличие, иногда чрезвычайно тонкое.

Актерская профессиональная грамотность начинается с умения создавать условия для возникновения натураль­ного сценического действия. Умение это равно способно­стям к актерскому искусству. Исключительно одаренным актерам нет нужды специально заботиться об умении действовать. Они легко воображают себя в условиях жизни персонажа пьесы и, поверив в эти условия, перево­площаются в образ, минуя технику перевода его внут­ренних качеств на язык действий. Этим языком они поль­зуются, как родной речью может пользоваться неграмот­ный. Таковы редчайшие, исключительные дарования, ка­ким был, например, К. А. Варламов, не учивший ролей и в репетициях не нуждавшийся.

Если не считать таких исключений, то рост умений есть в то же время и рост дарования, хотя начинается он с зародыша способностей и без него невозможен. В даль­нейшем дарование является не только постоянным спут­ником умений, но и главным стимулом их роста и накоп­ления. Еще И. Кант заметил: «Уменье составляет при­знак таланта».

# ЛИЧНОСТЬ И ЮМОР

*Юмор и знание — две великие надежды ци­вилизации,*

Конрад Лоренц

Чувство смешного и его внешние проявления, наибо­лее очевидным из которых является смех, могут служить очень важной характеристикой человеческой индиви­дуальности. «Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди чаще всего смеются злобно. Искренний и беззлобный смех это — веселость, а где в людях в наш век веселость и умеют ли люди веселиться? Веселость человека — это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется, как на ладони... Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он вол­нуется благороднейшими идеалами, а вы смотрите его лучше, когда он смеется. Хорошо смеется человек — зна­чит хороший человек. Примечайте притом все оттенки: надо, например, чтобы смех человека ни в коем случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и про­стодушен… смех есть самая верная проба души»[[113]](#footnote-114). Для того, чтобы оценить диагностическую надежность реакции на смешное как «самую верную пробу души», необходимо прежде всего разобраться в природе той несомненно положительной эмоции, которая проявляется смехом.

Относительно проста «информационная» сторона этой реакции. Подобно всем остальным положительным эмо­циям она возникает в ситуации, когда вновь поступившая информация ведет к возрастанию вероятности удовлетворения какой-то (пока еще неясно какой) потребности, превышая ранее существовавший прогноз. В самом деле, все известные нам анекдоты, изобретенные челове­чеством на протяжении столетий, построены по единой структурной схеме: они должны состоять минимум из двух частей. Первая часть формирует у слушателя некий ложный прогноз относительно существа описываемой си­туации, а когда слушатель уверует в эту ложную версию, мы преподносим ему неожиданную концовку. Рассогла­сование между ожидаемым и полученным порождает тот эффект, который проявляется усмешкой или гомериче­ским хохотом. Иными словами, положительная эмоцио­нальная реакция на смешное вполне соответствует «ин­формационной теории эмоций» (Симонов, 1964), согласно которой любая эмоция есть отражение силы и качества какой-либо актуальной потребности и оценки вероятно­сти, возможности удовлетворения этой потребности па основе врожденного и ранее приобретенного индивидуаль­ного опыта.

Психиатр И. М. Фейгенберг убедительно показал, что отсутствие реакции на смешное у некоторых больных объясняется не интеллектуальным дефектом (они пре­красно понимают, о чем шла речь и точно пересказывают содержание анекдота), не «поломом» исполнительных механизмов смеха (больных можно рассмешить более примитивными способами), а нарушением вероятностного прогнозирования, утратой способности к формированию версии о дальнейшем ходе событий. Не случайно эти же больные превосходят (!) здоровых лиц, когда надо опре­делить одинаковый вес двух разных по объему предметов или распознать необычное по содержанию (например, пе­ревернутое вверх ногами) расфокусированное изображе­ние. Ведь мы всегда забегаем вперед, опираясь на свой прошлый опыт. Взяв в руки два предмета, мы инстинк­тивно мобилизуем больше мышечных усилий для удер­жания того, который оказался большим по размерам. Если предметы имеют равный вес, то маленький пока­жется нам тяжелее. Рассматривая расфокусированный диапозитив, мы строим догадки о том, что на нем изо­бражено, извлекая из памяти наиболее часто встречав­шиеся похожие варианты. Если фотография необычна, мы, как правило, ошибаемся. Что касается больных, о ко­торых идет речь, то они оценивают внешние предметы без иллюзий, непосредственно, не осложняя процесс вос­приятия вероятностным прогнозом.

Итак, реакция на смешное — это прежде всего рассо­гласование, несоответствие, курьез. Нам смешон персо­нала комедии, который осторожно пробирается в комнату, где (как знаем мы) никого нет. Смешон невежда, счита­ющий себя мудрецом. Смешна Моська, лающая на Слона, и Лягушка, решившая сравняться с Волом. Число подоб­ных примеров можно умножать до бесконечности. Но рас­согласование с приростом вероятности удовлетворения по­требности — это универсальное правило возникновения любой положительной эмоции. Значит, тайна смешного кроется не в этом правиле, а в качестве той потребности, успешное удовлетворение которой знаменуется смехом. Что же это за потребность?

К поискам ответа на поставленный нами вопрос, в сущности, сводится вся история исследования смеш­ного.

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд связывал чувство юмора с половым инстинктом, поскольку множе­ство анекдотов, острот и шуток имеют сексуальную окра­ску. Даже в тех случаях, когда смешными оказываются положения и объекты, казалось бы, не имеющие отноше­ния к сексу, Фрейд усматривал в них замаскированное стремление к удовлетворению половой потребности, на­мек на нее. По мнению этолога Конрада Лоренца[[114]](#footnote-115), юмор есть одна из форм социально приемлемой агрессивности, а смех представляет собой разновидность агрессивного поведения. Вместо того, чтобы атаковать противника, мы высмеиваем его, разряжая свою агрессивность столь мяг­ким (по сравнению с буквальным нападением) способом. Что же побуждает нас к замене агрессивности юмором, иронией, смехом? Ф. М. Достоевский полагал, что в основе такой замены лежит не осознаваемое субъектом чувство сострадания. Возбуждение сострадания, по мысли Достоевского, и есть тайна юмора.

Еще более сложную социально детерминированную мотивацию юмора предполагал Н. Г. Чернышевский. Ко­мическое пробуждает в нас чувство собственного достоин­ства — это утверждение Чернышевского кажется весьма правдоподобным. Потребность «занимать место», т. е. об­ладать определенным общественным статусом, пользо­ваться уважением и признанием со стороны других чле­нов сообщества — одна из сильнейших социальных по­требностей человека. Относясь иронически к какой-либо ситуации или определенному лицу, «я» тем самым демон­стрирую себе и другим свое превосходство, свою силу и неуязвимость. Правда, вышучивать можно и того против­ника, которому ты явно уступишь, если конфликт будет решаться другими средствами социальной борьбы (слово «борьба» мы употребляем в широком смысле: это может быть и спор, и конкуренция, и размолвка близких друг другу людей)[[115]](#footnote-116). В чувстве юмора мы, как правило, имеем дело с интеллектуальным превосходством, с превосход­ством в понимании, в оценке событий, лиц, положений и т. п.

Итак, попробуем согласиться с тем, что в основе чув­ства смешного лежит сплав социальной потребности пре­восходства с идеальной потребностью познания (точнее, понимания). Вернувшись к рассмотренным ранее при­мерам, мы убедимся, что человек, осторожно пробира­ющийся в пустую комнату, вызывает у нас смех потому, что мы знаем то, чего но знает он. Именно наше знание действительного положения вещей делает его поведение смешным, порождает чувство превосходства над комиче­ским персонажем. Чувство превосходства испытывает и современный школьник, смеясь над наивностью древних мудрецов, всерьез полагавших, что Земля покоится на слонах и китах. Нам смешон и наш собственный страх, когда мы обнаруживаем в темной комнате вместо прита­ившегося незнакомца брошенное на спинку стула пальто.

И все же вывод о чувстве юмора как удовлетворении потребности познания, понимания истинного положе­ния вещей оставляет ощущение какой-то неполноты. Например, будучи ученым, я могу испытывать чувство гордости, своеобразное удовольствие от сознания, что мне удалось превзойти своих коллег в понимании того или иного явления. Значит ли это, что меня будет разбирать смех при мысли о своем превосходстве? Что я буду ве­селиться, рассматривая другие, может быть, менее удач­ные, но серьезные и по-своему аргументированные ре­шения трудной задачи? По-видимому, нет. Что нее мы упустили в своих рассуждениях о природе смешного? По­требность в экономии сил.

Эта потребность занимает особое место в системе че­ловеческих мотиваций. Она может приобрести господству­ющее положение и обернуться ленью Ильи Ильича Обломова, лежащего на диване своей квартиры в Гороховой улице. Но эта не потребность побуждает человека изо­бретать, непрерывно совершенствовать способы удовлет­ворения биологических, социальных и идеальных потреб­ностей с тем, чтобы достигать своих целей с наимень­шими затратами физических и умственных усилий.

Несоответствие расходуемых сил стоящей перед субъ­ектом задаче также лежит в основе смешного, составляет важнейшую его черту.

Потребность экономии сил, как всякая иная потреб­ность, способна породить положительные и отрицатель­ные эмоции. Если мне не удается облегчить задачу, уменьшить затрачиваемые усилия, я буду испытывать отрицательные эмоции досады, раздражения, уныния и т. п. Если я найду более короткий и простой путь к достижению цели, это вызовет у меня положительные эмоции радости, удовлетворения, восхищения своей на­ходчивостью. Ну, а где же здесь чувство юмора? Эффект комического возникает тогда, когда субъект (им может быть и само действующее лицо) обнаруживает несоот­ветствие расходуемых сил реально необходимым тратам. Для того чтобы зафиксировать подобное несоответствие, надо одновременно иметь представление о размерах рас­ходуемого (или заготовленного) и о действительно необ­ходимом. Такое сопоставление возможно только при со­зерцании, при наблюдении со стороны, в том числе при наблюдении за самим собой, вот почему чувство юмора, по-видимому, недоступно животным.

Нам смешно, когда Городничий и его окружение тра­тят столько сил, чтобы завоевать расположение заезжего ничтожества. Когда Моська лает на Слона, чтобы про­слыть грозной забиякой (что есть пустая трата сил). Когда Лягушка стремится сравняться с Волом. Когда мы собрались бороться со злоумышленником, а им оказалось наше собственное пальто. Демагог, разглагольствующий о высоких материях, до которых ему нет дела, вызывает возмущение. Вместе с тем он смешон, потому что стара­ется впустую: ведь мы ему все равно не поверим.

Зряшное, избыточное расходование сил вызывает очень разное отношение в зависимости от того, какие со­путствующие потребности актуализируются в этот мо­мент. Эгоистическая потребность самовозвеличивания сде­лает смех злорадным. Потребность прийти на помощь обернется доброй шуткой в адрес незадачливого приятеля. Потребность в справедливости наполнит смех разящим сарказмом.

Органическая связь юмора с потребностью экономии сил обнаруживается уже при анализе физиологического механизма смеха. Ведь смех — это звук человеческого голоса, прерываемый серией коротких судорожных выдо­хов. В то время как физическое напряжение сопровождается задержкой дыхания в фазе глубокого вдоха, выдох означает разрядку, снятие напряжения, чувство облегче­ния. Смеющийся человек слабеет. «Не смеши меня, а то я уроню», — говорим мы приятелю, с которым решили пе­ренести тяжелый предмет. Иными словами, смех — это роскошь, которая позволительна при избытке сил или в момент, когда необходимость мобилизации сил уже ми­новала. Поскольку прогресс цивилизации означает не­прерывное совершенствование средств удовлетворения разнообразных потребностей человека, старые способы и средства кажутся недопустимо расточительными, бес­смысленно громоздкими и нелепыми. В результате исто­рия движется так, чтобы человечество весело расстава­лось со своим прошлым[[116]](#footnote-117).

Поскольку потребность экономии сил универсальна и присуща всем без исключения людям, эмоциональная реакция при ее удовлетворении сама по себе не несет информации об индивидуальности данного человека. Ин­дивидуальная окраска смеха определяется потребностью, *дополнительной* к потребности экономии сил. Именно она делает смех веселым, злобным, искренним, умным, глу­пым, именно она превращает смех в «самую верную пробу души». Распознать эту вторую потребность (или ком­плекс потребностей, сопутствующих избытку сэкономлен­ных сил) чрезвычайно трудно. Даже для талантливого художника описание всех оттенков смеха — нелегкая за­дача, требующая тончайшей художнической интуиции.

«Глаза ее заблестели, как у ребенка, которому при­несли подарок, и она вдруг рассмеялась гортанным зве­нящим смехом. Так смеются женщины от счастья. Они никогда не смеются так из вежливости или над шуткой. Женщина смеется так всего несколько раз в жизни. Она смеется так только тогда, когда что-то затронет самые глубины ее души, и счастье, выплеснувшееся наружу, так же естественно, как дыхание, как первые нарциссы или горный ручей. Когда женщина так смеется, что-то происходит и с вами. И не важно, какое у нее лицо. Вы слышите этот смех и чувствуете, что постигли какую-то чистую и прекрасную истину. Чувствуете потому, что этот смех — откровение. Это — великая, не обращенная ни к кому искренность. Это — свежий цветок на побеге, отходящем от ствола всебытия, и имя женщины, ее адрес ни черта тут не значат. Вот почему такой смех нельзя подделать. Если бы женщина научилась подделывать этот смех, то... из-за нее передрался бы весь свет. Ибо един­ственное, чего, в сущности, хочет мужчина — это услы­шать такой вот смех»[[117]](#footnote-118).

Что нового вносит информационная теория эмоций в понимание природы смешного, чувства юмора, реакции смеха? Прежде всего, теория утверждает, что юмор нельзя свести к какому-либо одному все определяющему фактору, будь то агрессивность, чувство собственного до­стоинства, сострадание и т. п. Только сочетание минимум четырех условий способно привести к возникновению ка­чества «смешного». Какие же это условия?

1. В информационном отношении вновь поступившая информация не просто повышает вероятность разгадки, понимания сложившейся ситуации, но отменяет, перечеркивает ранее сложившийся прогноз. Ярчайший пример тому — структурная схема любого анекдота, о которой мы писали в самом начале главы. Все усилия персонажей гоголевского «Ревизора» расположить к себе Хлестакова смешны потому, что ложен их прогноз об его особой миссии. Прагматическое рассогласование (вероятность до­стижения цели) здесь усугубляется рассогласованием семантическим, что делает это двойное рассогласование особенно «сильнодействующим».

2. Потребность, удовлетворяемая при реакции на смеш­ное, не является устойчиво доминирующей потребностью субъекта. Не может быть смешным успех (или неудача) па пути к удовлетворению главенствующей потребно­сти — материальной, социальной, идеальной и т. п. В сущ­ности, смех есть всегда известное отвлечение от мотива-ционной доминанты, отход от нее, взгляд со стороны. Вот почему развитое чувство юмора свидетельствует о разно­образии и широте интересов (потребностей) личности, не ограничивающейся достижением только своей основной пели. Юмористическое отношение к происходящему есть результат склонности к созерцанию, ибо человеку, стре­мящемуся к прагматически актуальным целям, как гово­рится, «не до смеха».

3. В чувстве юмора неизбежно присутствует потреб­ность экономии сил. Смешно все избыточное, нерациональ­ное, не соответствующее новым прогрессивным нормам удовлетворения потребностей. Именно поэтому человече­ство весело расставалось со своим прошлым (К. Маркс). Здесь юмор граничит с остроумием в более широком смысле, как нахождением наиболее простого и экономного решения трудной задачи — научной, производственной, бытовой. Но здесь же юмор граничит и с легкомыслием, с желанием упростить стоящие перед субъектом задачи без достаточных к тому оснований. Ведь потребность эко­номии сил, движущая изобретательством и совершенство­ванном навыков, может обернуться и ленью, отказом от достижения труднодоступных целей. Точно так же лег­кость остроумного решения подчас оказывается мнимой, поскольку субъект недооценил реальную сложность стояв­шей перед ним задачи (легкомыслие).

4. Наконец, реакция па смешное связана с неосозна­ваемыми проявлениями деятельности мозга. Смех возникает стремительно и непроизвольно. Можно попытаться воспроизвести некоторые из его внешних моторных ком­понентов, но нельзя по своему желанию испытать приступ того внутреннего состояния, которое заставляет нас не­удержимо рассмеяться. А как трудно бывает объяснить (следовательно, осознать), что именно и почему оказалось для пас смешным. По-видимому, существует смех, связан­ный с деятельностью подсознания. Это — примитивный, «утробный» смех, порожденный самодовольным ощуще­нием своего превосходства за счет хорошо автоматизиро­ванных навыков и прочно усвоенных норм, в сопоставле­нии с которыми все новое и непривычное кажется достойным осмеяния. Но гораздо важнее и значительнее юмор как функция сверхсознания, прокладывающего путь в бу­дущее, преодолевающего отжившие и исчерпавшие себя нормы[[118]](#footnote-119). Именно такой юмор связан с творчеством, с ин­туицией, с остроумием нетривиальных решений научных и художественных задач. «Науку делают люди веселые,— говорил академик П. Л. Ребиндер. — Нытики и пессими­сты, как правило, неудачники, ибо они неспособны к твор­честву»[[119]](#footnote-120).

Итак, смех способен дать нам массу важнейших све­дений об индивидуальных чертах данного человека. О со­отношении сознания, подсознания и сверхсознания в структуре данной личности («глупый» или «умный» смех в описании Достоевского). О мере пристрастия че­ловека к неукоснительному соблюдению социальных норм и заботе о своем престиже («искренность» или «неискренность»), О преимущественном преобладании потребностей «для себя» или «для других» («злобность» или «беззлоб­ность»), О степени ориентации человека на удовлетво­рение идеально-познавательных потребностей, свободных от материального или карьеристского расчета («весе­лость»).

Анализ юмора с позиций информационной теории эмо­ций — дело будущего; возможно, мы посвятим этой теме одну из своих дальнейших работ, Пока же ограничимся этими предварительными заметками о смехе как «самой верной пробе души».

# НАУКА О ВОСПИТАНИИ

# И ВОСПИТАНИЕ КАК ИСКУСТВО

*Человек не из одного какого-нибудь*

*побуждения состоит, человек — целый мир, было бы*

*только основное побуждение в нем благородно.*

Ф. М. Достоевский

Анализ природы юмора дал нам новые подтверждения справедливости ряда выводов, сделанных на предыдущих страницах. Во-первых, мы смогли уточнить представления о доминирующей потребности. Этот термин оказался мно­гозначным, включающим в себя минимум три явления. Доминирующая потребность может быть ситуативной, сию­минутной. К этому классу относятся многие биологиче­ские потребности, требующие немедленного удовлетворе­ния. С другой стороны, существуют потребности, устой­чиво доминирующие в иерархии мотивов данной личности, подчас на протяжении всей жизни человека. Мы назвали их главенствующими, стремясь подчеркнуть их отличие от сиюминутных, преходящих доминант. Это — своеобраз­ные «доминанты жизни», которые Павлов отнес к «реф­лексам цели», а Станиславский — к разряду «сверх-сверхзадач». В результате синтеза ситуативных и главенствую­щих доминант формируются практические доминанты, не­посредственно направляющие поведение. Например, ис­пытывая крайнюю нужду в чем-либо — голод, жажду, усталость, боль и т. д., человек удовлетворяет эти потреб­ности весьма различно в зависимости от своих главен­ствующих доминант, называемых в просторечии чувством собственного достоинства, долгом, стремлением к справед­ливости и т. д. Практическая доминанта как вектор, опре­деляющий поведение, близка к понятию установки Д. Н. Узнадзе, хотя автор теории установки специально не занимался анализом сферы потребностей, не детализи­ровал их конкретное содержание.

Во-вторых, анализ чувства смешного в новом ракурсе обнажил две функции сверхсознания: позитивную и нега­тивную. Негативная функция сверхсознания есть отрица­ние устаревшего, пережившего себя и утратившего не­когда реальный смысл. Именно в этом случае деятель­ность сверхсознания завершается смехом, и человечество весело расстается со своим прошлым. Благодаря сверхсознанию, устаревшее становится смешным до того, как строгий рассудочный анализ сможет неопровержимо доказать размеры и степень устарения,

Позитивная функция сверхсознания состоит в порож­дении нового — гипотез, догадок, озарений, ведущих к ра­нее не существовавшему знанию о мире. Развитое и активно функционирующее сверхсознание, как правило, обладает обеими этими функциями, вот почему юмор тесно связан с творчеством, с интуицией, с остроумием нетри­виальных решений научных, технологических и художе­ственных задач. Отсутствие чувства юмора — почти без­ошибочный признак бездарности.

Структура и иерархия потребностей данного конкрет­ного человека формируется на протяжении всей его жизни. Выделение главенствующей доминанты — цент­ральное звено этого сложного и длительного процесса, «равнодействующая» всей совокупности природных задат­ков, влияний микро- и макросоциальной среды. Известную (хотя и не фатальную роль) здесь играют врожденные особенности субъекта. Так, на одно и то же событие во внешней среде холерик при «прочих равных условиях» скорее отверг сопротивлением (потребность преодоле­ния), меланхолик — реакцией избегания (потребность са­мосохранения), а сангвиник — любопытством (познава­тельная доминанта). Любая реакция всегда имеет свою предысторию, генетическую или индивидуально приобре­тенную. Вот почему отдельный рефлекс не может быть «кирпичиком», элементарной единицей поведения.

Поскольку целью воспитания является трансформация потребностей, структуры их соподчинения, соотношения главенствующих и второстепенных доминант, методы вос­питания принципиально отличны от методов обучения. Обучение есть передача знаний, апеллирующая к встреч­ной активности сознания. Цель обучения состоит в том, чтобы эти знания были восприняты, поняты (т. е. воспри­няты правильно), закреплены и реализованы в практиче­ской деятельности, будь то теоретическое мышление или совокупность бытовых, производственных, эксперимен­тальных, художественных и тому подобных навыков. Пе­дагогика сформулировала ряд правил и непрерывно ищет новые, более совершенные методики обучения, уделяя осо­бое внимание активному участию обучаемых в этом про­цессе.

Современная наука располагает значительным запасом сведений о закономерностях и механизмах восприятия, памяти, организации действий, их последующей автома­тизации и переходе в сферу подсознания. Эти сведения служат теоретической базой для педагогики, тем более что при известной индивидуальной вариабельности зако­номерности восприятия, запоминания и формирования на­выков достаточно универсальны, являются общими для множества людей. В разное время и в разных странах были разработаны всякого рода «обучающие машины», применение которых нередко дает положительный эффект. Можно ли представить себе «воспитательный автомат»? Разве что в виде «механического правосудия», с блестя­щим сарказмом описанного А. И. Куприным. Методоло­гическое, а затем и практическое фиаско потерпела тео­рия «модификации поведения» с помощью инструменталь­ных условных рефлексов, которую предложил известный американский психолог Б. X. Скиннер.

В отличие от теории обучения дело с теорией *воспи­тания* обстоит значительно сложнее. Соглашаясь с тем, что воспитание есть формирование общественно ценных потребностей, мы прежде всего обнаруживаем крайнюю ограниченность наших реальных знаний об этой области высшей нервной (психической) деятельности человека. Мы не знаем ни количества этих потребностей, ни их влияния друг на друга, ни законов их трансформации. Воспитание до сих пор остается преимущественно *искус­ством*, и выдающиеся представители этой сферы челове­ческой деятельности — Макаренко, Корчак, Сухомлинский — являются нам скорее в образе «художников», чем «инженеров» человеческих душ. Подлинно научная тео­рия воспитания в общепринятом смысле слова «теория» по-прежнему остается делом будущего.

Какие объективные факторы ведут к сближению дея­тельности воспитателя с творчеством художника? Прежде всего, это несопоставимо большая, нежели при обучении, индивидуализация воспитательных воздействий. Ведь каждый воспитуемый — уникально неповторимая лич­ность, а процесс ее формирования действительно напоми­нает изготовление единственного в своем роде «произве­дения» ума и таланта воспитателя. Здесь мы, по-види­мому, должны четко различать «технологию воспитателя», более или менее универсальную и потому имеющую основу, и воспитание — творчество, ориентированное на каждого конкретного воспитанника, где составление об­щих для всех «рецептов» бессмысленно и бесплодно.

Если обучение есть формирование сознания, то воспи­тание главным образом адресовано к подсознанию. В са­мом деле, воспитанность предполагает не просто знание норм поведения, по соблюдение этих норм с целью награды или ухода от наказания, а невозможность наруше­ния норм, ставших внутренними регуляторами действий и поступков. Как остроумно заметил один юрист, нормальный человек даже в гневе не посягает на жизнь дру­гого не потому, что боится высшей меры, а потому, что им движет древняя заповедь «не убий». Человек, соблю­дающий нормы во имя выгоды или страха перед возмез­дием, безнравствен. В субъективной неосознаваемости объективной целесообразности просоциального поведе­ния — суть моральной диалектики. В противном случае расчеты по принципу «ты мне, я тебе» мало что оставят от совести и морали.

Что касается технологии воспитания, то на уровне на­ших сегодняшних знаний о человеке она кратко сводится к следующему.

1. Постараться понять, с какой индивидуально сложив­шейся структурой потребностей мы имеем дело у данного субъекта: какие из них занимают главенствующее поло­жение, какие хронически неудовлетворенны, не вооружены разумными способами удовлетворения и в силу их неудов­летворенности трансформировались в социально неприем­лемое поведение, в состояние эмоционально отрицательной фрустрации, тревоги или депрессии.

2. Бессмысленно без конца объяснять полезность и целесообразность тех или иных норм, суть «хорошего» и «плохого», взывая к всемогущей сознательности. Сознание занято средствами удовлетворения потребностей. Вот и надо вооружить его знанием этих средств, таких средств, которые обеспечат успешное удовлетворение социально цепных побуждений, с помощью положительных эмоций усилят эти побуждения и позволят им возобладать над со­циально неприемлемыми мотивациями. Ни сознание, ни воля сами по себе не могут перестроить иерархию моти­вов, ибо любой потребности в конечном счете может про­тивостоять только другая потребность.

3. Поскольку непосредственными «трансформаторами» структуры потребностей являются положительные эмо­ции, а они, в свою очередь, связаны с успешным удовлетво­рением этих потребностей, вооруженность субъекта ква­лификацией и активно работающим сверхсознанием — предмет первейшей заботы воспитателя. Не «общения», не «сопереживания», не «духовных контактов» ждет воспи­танник от наставника, а реальной помощи в повышении своей вооруженности. Только квалифицированный труд приносит человеку радостное ощущение полноценности, чувства собственного достоинства, нужности и полезности людям. Только элементы творчества, интуиции, т. е. дея­тельность сверхсознания, сообщают этому труду привле­кательность до получения конечного материального или социального результата. А от «общения вообще», как и от «сопереживания вообще», пользы немного.

«Любовь мечтательная, — писал Достоевский, — жаж­дет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука»[[120]](#footnote-121). «Труд души», в смысле В. А. Сухомлинского, состоит в том, чтобы ребенок не просто ощущал некий эмоциональный дискомфорт при виде больного или несправедливо обиженного человека, не просто стремился к устранению этого тягостного для него самого «сопереживания», но приходил на помощь и переживал положительные эмоции, которые приносит успех действий, направленных на об­легчение участи другого.

Таковы три фундаментальных требования к системе воспитательных воздействий, вытекающие из потребностно-информационного подхода к проблеме человеческой индивидуальности. Спрашивается, если мы, хотя бы в об­щих чертах, знаем, как строить эту систему, и если, с дру­гой стороны, мы отчетливо представляем себе гармониче­ски развитую, общественно полезную личность, то почему сохраняется так много примеров поведения, весьма отлич­ного от выработанного нами образца?

Ответим па этот вопрос словами К. Маркса: «Материа­листическое учение о том, что люди суть продукты обстоя­тельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам дол­жен быть воспитан»[[121]](#footnote-122).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Что такое эмоция?» — название работы

У. Джеймса, опубликованной в 1884 г.

На протяжении всех глав своей книги мы анализиро­вали проблему индивидуальных особенностей личности с позиций потребностно-информационного подхода, кото­рый, в свою очередь, базируется на «информационной тео­рии эмоций», предложенной одним из пас (П. В. Симоно­вым) в 1904 г.

Для того чтобы читатель смог вынести собственные суждения о продуктивности этого подхода, попробуем сформулировать те вопросы, на которые не в 1884, а в 1984 г. обязана ответить сколько-нибудь развитая и завершенная теория эмоций. Мы полагаем, что таких во­просов минимум пять.

1. Если автор теории разделяет мнение о том, что эмо­ция представляет одну из форм отражения реальной дей­ствительности, он обязан определить, что именно отра­жает эмоция, чем она отличается от других разновидно­стей отражательной деятельности мозга. Сложность и нерешенность этого вопроса сравнительно недавно отмс­тил В. К. Вилюнас. «При исследовании познавательных процессов обычно существует возможность опираться на два ряда явлений: объективный и субъективный, отража­емый и отраженный. По отношению к субъективному от­ражению первый ряд может служить своего рода образ­цом, „эталоном" того, что, например, должно или могло бы быть воспринято, запечатлено, постигнуто мышлением и т. п… При исследовании же эмоций такой возможно­сти не существует. Эмоции выполняют функцию не отра­жения объективных явлений, а выражения субъективных к ним отношений... Поэтому данные о том или ином эмоциональном переживании мы можем сравнивать лишь с данными о других эмоциональных переживаниях у од­ного и того же человека или у других людей, а не с не­которым объективным „эталоном"»[[122]](#footnote-123).

2. Любая новая теория эмоций должна, по нашему мнению, способствовать упорядочиванию, классификации наблюдаемых в жизни эмоций, предложив теоретический

принцип подобной классификации. Можно, конечно, пойти и чисто эмпирическим путем, примером которого служит описательная классификация Б. И. Додонова из его книги[[123]](#footnote-124).

3. Концепция, претендующая на то, чтобы именоваться теорией, должна ответить на вопрос о том, какую роль играют эмоции в жизнедеятельности живых существ, в организации их целенаправленного поведения. Иными словами, каковы регуляторные функции эмоций?

4. Теория должна способствовать уяснению мозговых механизмов формирования и реализации эмоциональных реакций человека и высших млекопитающих животных. Ссылки на «системность», на «топографическое» распре­деление функций, на деятельность «мозга в целом», с на­шей точки зрения, малопродуктивны. Попытки вернуться к представлению об эмоциях, как о конечном, далее неде­лимом психофизиологическом образовании можно было бы сравнить с призывом вернуться от современных пред­ставлений о многообразии элементарных частиц к атому Демокрита.

5. Наконец, предлагаемая теория должна чем-то обо­гащать практику. Практику воспитания, профилактики и борьбы с нежелательными последствиями эмоционального стресса, его влияния на здоровье и эффективность чело­веческой деятельности. Значение практики как критерия истины в полной мере применимо к частному случаю по­знания закономерностей и механизмов эмоций.

**Отражательно-оценочная функция эмоций**

На вопрос о том, что отражает эмоция, информацион­ная теория отвечает определенно и однозначно: эмоция есть отражение какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую субъект оценивает на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта. В приведенном выше определении представлены и порождающее (через потребность) и отражающее (че­рез вероятность ее удовлетворения) начала. Эмоция от­ражает предметы и события окружающей среды в их отношении к актуальным потребностям субъекта, откуда и возникает категория значимости этих предметов и со­бытий, их субъективная оценка

Наше определение эмоции удобно представить в виде структурной формулы, которая в настоящее время имеет вид

Э = f[П, (Ин – Ис)...].

Репрезентация установленных зависимостей в виде фор­мул широко используется в теоретической и эксперимен­тальной психологии. В качестве примера приведем близ­кую к нашим работам формулу Мак-Граса[[124]](#footnote-125)

S = C0(D-C),

где S — степень стресса; С0 — степень важности требова­ния; D — осознаваемое требование; С — осознаваемая воз­можность. Нетрудно видеть, что эта формула очень напо­минает «формулу эмоций» с той разницей, что, во-первых, появилась в 1976, а не в 1964 г., а во-вторых, касается лишь частного случая осознаваемой оценки ситуации, тогда как для огромного множества эмоций характерно прогнозирование вероятности достижения цели (удовле­творения потребности) на неосознаваемом уровне.

Можно ли проверить справедливость нашей формулы в прямом эксперименте? Да, можно. Правда, на уровне современной экспериментальной техники «структурная» формула эмоций становится «измерительной» только при исследовании сравнительно элементарных эмоциональных реакций. Так, мы можем измерять степень эмоциональ­ного напряжения по величине объективно регистрируемых физиологических сдвигов (частота сердцебиений, ампли­туда и продолжительность кожно-гальванических реакций, суммарное напряжение тета-ритма электроэнцефало­граммы и т. п.). В определенных пределах мы можем измерять потребность в пище продолжительностью голо­дания, а потребность избегания боли — силой раздра­жения.

Перейдем теперь ко второму фактору из числа необхо­димых и достаточных для возникновения эмоций: к ве­роятности (возможности) удовлетворения актуальной по­требности. Впрочем, этот фактор принимается во внима­ние далеко не всеми исследователями эмоций. «С точки зрения физиологической, — писал академик П. К. Ано­хин, — перед нами стоит задача раскрыть механизм тех конкретных процессов, которые в конечном итоге приводят к возникновению и отрицательного (потребность) и положительного (удовлетворение) эмоционального состоя­ния»[[125]](#footnote-126). Рассматривая генез эмоций, П. К. Анохин учиты­вал прогнозирование только содержания, семантики цели, предполагая, что в данный момент времени цель может быть одна, т. е. человек намеревается взять или стакан, или вилку, или тарелку (мы используем пример, который обычно приводил сам П. К. Анохин). П. К. Анохин отри­цал прогнозирование *вероятности* достижения цели, хотя без такого прогноза трудно понять факт возникновения эмоций *до* начала каких-либо действий. Оп писал: «...выражение „вероятностное (?) прогнозирование" про­сто не соответствует физиологическому смыслу событий и неправильно ориентирует читателей, интересующихся на­шими работами. Вероятность прогноза, т. е. параметров акцептора действия, всегда максимальна и равна еди­нице, поскольку он отражает потребность организма на данный момент. Наоборот, результат всегда менее вероя­тен по отношению к акцептору действия; и, следовательно, выражение „вероятностное прогнозирование" едва ли ока­зывается полезным при изучении живых систем»[[126]](#footnote-127).

Каким образом человек прогнозирует вероятность до­стижения цели (удовлетворения потребности)? Экспери­мент и теоретический анализ показывают, что эта оценка осуществляется путем сопоставления информации о сред­ствах, способах, времени и т. д., прогностически необхо­димых и реально имеющихся у субъекта. Вероятность удовлетворения оказывается интегральным показателем, результатом подобного сопоставления. Скажем, при встрече с тремя разъяренными хищниками вероятность благополучного исхода будет существенно различной в за­висимости от того, имеет ли охотник автоматическую вин­товку с полной обоймой или один-единственный патрон. Во многих экспериментах разницу между необходимым и имеющимся можно эмпирически измерять по суммарной величине допускаемых субъектом ошибок, что свидетель­ствует о степени его информированности, куда входят не только теоретическое знание того, что, как и когда надо делать, но и степень совершенства соответствующих прак­тических навыков.

Соотношение необходимого и имеющегося можно рас­сматривать и в статике, как «мгновенный срез» степени информированности, и в динамике. В первом случае ре­зультат сравнения обернется дефицитом или избытком ин­формации, во втором — возрастанием или падением ве­роятности достижения цели.

Универсальность механизма сравнения такова, что об­наруживается даже в генезе тех элементарных эмоций, которые принято именовать эмоциональным тоном ощуще­ний. Так, эмоциональная окраска ощущений от пищи, на­ходящейся во рту (вкусно, безразлично, неприятно), фор­мируется только после того, как голодовое возбуждение (потребность) оказывается сопоставлено с афферентацией (информацией), идущей из полости рта.

Вероятность удовлетворения может быть и субъектив­ной, и объективной. Разумеется, в формировании эмоций участвует *только субъективная* оценка вероятности дости­жения цели. Животное и человек могут существовать лишь потому, что субъективные оценки вероятности, как правило, адекватно отражают объективную вероятность тех или иных событий. В отдельных случаях субъектив­ный прогноз оказывается ложным, и тогда эмоциональная оценка событий не соответствует их реальному значению («пьяному море по колено», «пуганая ворона и куста боится» и т. п.).

Неопределенность не может сочетаться с высокой ве­роятностью достижения цели, хотя максимальная неопре­деленность предстоящих событий (50%) оставляет больше надежды на благополучный финал, чем заведомо низкая вероятность, равная 20 или 10%.

Применительно к эмоциям мы встречаемся здесь с до­полнительным фактором, который не представлен в фор­муле подобно тому, как в формуле не представлена ди­намика развертывания эмоциональных реакций и многое другое. Речь идет об индивидуальных (типологических, характерологических) особенностях эмоциональности дан­ного субъекта. Конкретные эксперименты пашей сотруд­ницы Л. А. Преображенской показали, что эмоциональное напряжение, о котором судили по частоте сердцебиений, у одних собак достигает наивысших значений при макси­мальной неопределенности подкрепления, а у других — при низкой его вероятности. Сходные наблюдения мы на­шли в исследованиях В. М. Русалова[[127]](#footnote-128), который обнару­жил среди своих испытуемых три группы лиц, по-разному реагировавших на вероятностно организованную среду.

Мы приходим к выводу о том, что наша формула, дей­ствительно, воспроизводит сложную внутреннюю струк­туру эмоций, взаимозависимость эмоции, потребности и прогнозирования вероятности ее удовлетворения, которое осуществляется как на осознаваемом, так и на неосозна­ваемом уровне высшей нервной (психической) деятель­ности. Эксперимент и наблюдения убедительно показы­вают, что порождаемая потребностью эмоция оказывает обратное влияние на потребность и прогноз ее удовлетво­рения. Кстати, и прогноз способен существенно повлиять на силу потребности, свидетельством чему могут служить многочисленные эксперименты с так называемой «выучен­ной беспомощностью». Разумеется, когда мы говорим о влиянии эмоций на потребность, а потребности — на про­гнозирование вероятности достижения цели, мы отнюдь не думаем, что эмоция и потребность могут расти беспре­дельно. Эти пределы но оговорены и не отражены в фор­муле эмоций, поскольку, повторим еще раз, формула пред­ставляет структурно-качественную модель и только в оп­ределенных, сравнительно простых случаях ее символы могут быть заменены эмпирически измеримыми величи­нами.

**Классификация эмоций**

Поскольку в основе любой эмоции лежит соответству­ющая потребность, поскольку в одно и то же время могут оказаться актуализированы несколько потребностей с раз­ной вероятностью их удовлетворения («Мне грустно и легко, печаль моя светла...»), сколько-нибудь полная классификация эмоций представляется делом хотя и увле­кательным, по безнадежным. Вот почему многие авторы пытаются выделить лишь ограниченное число «базальных» эмоций.

Информационная теория эмоций побуждает разделить их прежде всего на две традиционные группы: на положи­тельные и отрицательные. Первые возникают в ситуации избытка прагматической информации по сравнению с ра­нее существовавшим прогнозом (при «мгновенном срезе») или в ситуации возрастания вероятности достижения цели (если генез эмоции рассматривается в его динамике). Вторые представляют реакцию на дефицит информации или на падение вероятности достижения цели. Наиболее надежным критерием для различения положительных и отрицательных эмоций, равно применимым к человеку и к животным, следует признать отношение живого суще­ства к своему состоянию, т. е. принцип максимизации-ми­нимизации. Мы обратились к гедонистическому принципу только в целях объективной диагностики положительных и отрицательных эмоций, с целью уточнения их роли в организации поведения, отнюдь не усматривая в этом принципе «смысла существования человека». Более того, именно опасность переориентации поведения па легко до­стижимые цели, сулящие немедленное удовольствие, по­требовала от эволюции создания специального мозгового аппарата, призванного купировать это свойство эмоций. На уровне человека функционирование такого аппарата принято называть волей.

Поскольку вероятность достижения цели в огромной мере зависит от эффективности действий субъекта, вто­рым принципом классификации эмоций оказывается ха­рактер взаимодействия живых существ с объектами, спо­собными удовлетворить имеющуюся потребность. Взаимо­действие может быть контактным, уже происходящим, или дистанционным, в виде овладения, защиты и преодо­ления (борьбы). В подобной системе координат мы полу­чаем всего четыре пары «базисных» эмоций: удоволь­ствие — отвращение, радость — горе, уверенность — страх, торжество — ярость. Именно такую классификацию эмо­ций мы впервые опубликовали в 1966 г. Позднее к ней присоединился и В. Д. Небылицын. Что касается каче­ственной специфики эмоций наслаждения, радости, страха, гнева и т. д., то она целиком определяется потреб­ностью, в связи с удовлетворением которой возникает дан­ное эмоциональное состояние. Мы отнюдь не считаем пред­лагаемую классификацию эмоций наилучшей или исклю­чающей другие возможные классификации. Нам важно лишь подчеркнуть, что она с непреложностью вытекает из развиваемой нами теории.

**Регуляторные функции эмоций**

*Переключающая функция*. Регуляторные функции эмоций, их участие в организации целенаправленного поведения определяются отражательно-оценочной функ­цией. Поскольку положительная эмоция свидетельствует о приближении удовлетворения потребности, а отрица­тельная эмоция — об удалении от нее, субъект стремится максимизировать (усилить, продлить, повторить) первое состояние и минимизировать (ослабить, прервать, предот­вратить) второе.

Однако все дело в том, что, будучи мерой ценности, эмоции *не являются ценностью* сами по себе. Человек не может стремиться к удовольствию как таковому, потому что существуют *разные удовольствия*. Если мы имеем дело не с мазохистом или религиозным фанатиком, а с нормальным, психически здоровым субъектом, он, ра­зумеется, не стремится максимизировать свои отрицатель­ные эмоции. Вопрос стоит совершенно в иной плоскости: *какие именно потребности*, какие мотивы вступают в кон­курентную борьбу «в доспехах» положительных и отрица­тельных эмоций?

Значение эмоций отнюдь не исчерпывается банальной истиной, что все полезное приятно, а все вредное и опас­ное для организма имеет отрицательную эмоциональную окраску. Прежде чем продолжить разговор о так называ­емой ценности, эмоций, вспомним, откуда и как вообще появляется категория «цены». Цена представляет функ­цию минимум двух факторов: спроса (т. е. потребности) и предложения (т. е. возможности этот спрос удовлетво­рить). Далее, нужда в измерении ценностей возникает только при необходимости *сопоставления* разных ценно­стей. Если бы существовало нечто единственно ценное, то измерять его но было бы никакой нужды.

Казалось бы, ориентация поведения на первоочередное удовлетворение той или иной потребности могла осуще­ствиться путем непосредственного сопоставления силы (величины) этих потребностей. Но в таком случае конку­ренция мотивов оказалась бы изолирована от условий окружающей субъекта среды. Вот почему конкурируют не потребности, а порождаемые этими потребностями эмоции, которые, как известно, зависят не от одной лишь потреб­ности, но и от вероятности (возможности) ее удовлетво­рения. Иными словами, в процессе эволюции эмоции воз­никли и сформировались в качестве своеобразной «ва­люты» мозга, универсальной меры ценностей, сами по себе этой ценностью не обладая. Здесь наблюдается аналогия с функцией денег. Представляют ли деньги ценность для человека? Разумеется, да: ведь человек может стремиться к ним, старается их накопить, увеличить их количество и т. п. Но мы знаем, что дело не в банкнотах и монетах, а в их покупательной способности.

В качестве решающего доказательства самоценности эмоций Б. И. Додонов и в своей книге[[128]](#footnote-129) и в статье[[129]](#footnote-130) приводит якобы парадоксальное с позиций информационной теории стремление человека к повторному переживанию отрицательных эмоций в условиях информационного де­фицита. Речь идет о всякого рода риске, острых ощуще­ниях, активном создании критических ситуаций. Однако более тщательный анализ этих ситуаций показывает, что, создавая такие ситуации, человек все же рассчитывает на благоприятный исход (повторяем, если он не самоубийца и психически нормален). Субъект намеренно создает *де­фицит* прагматической информации, низкую вероятность достижения цели, чтобы в финале получить максималь­ный *прирост* вероятности, т. е. опять-таки — положитель­ные эмоции, а не просто старается лишний раз испытать страх или отчаяние. В приведенной в качестве примера поэтической цитате: «... поставить в радостной надежде на карту все, что приобрел с трудом» Б. И. Додонов явно не обратил внимания па значение «радостной надежды».

*Подкрепляющая функция эмоций* представляет част­ный случай их переключающей функции. В настоящее время имеется большое количество экспериментальных фактов, показавших, что без участия эмоций (а такое вы­ключение нервного аппарата эмоций экспериментально достижимо) приобретения новых навыков вообще не про­исходит. Во всяком случае, выработать инструментальный условный рефлекс у животных в ситуации, где активация мозговых механизмов эмоций исключена, не удается. Под­крепляющая функция эмоций обнаруживается не только па индивидуальном, но и па популяционном уровне, где эта функция реализуется через мозговой механизм «эмо­ционального резонанса», т. е. сопереживания.

Наконец, нам осталось упомянуть о компенсаторной (замещающей) функции эмоций. Она проявляется не только в гипермобилизации вегетативно-энергетических ресурсов организма, но, главным образом, в переходе к реагированию на широкий круг предположительно зна­чимых сигналов (эмоциональные доминанты), чье истинное значение, соответствие или несоответствие реальной действительности выясняется лишь позднее по мере со­поставления с этой действительностью. Здесь роль эмоций в индивидуальной творчески-поисковой деятельности мозга напоминает роль эмоционального стресса в эволюции мира живых существ, где стресс усиливает разнообразие подле­жащего отбору генетического материала.

Когда человек или высшее животное оказывается в ситуации дефицита информации о способах и средствах удовлетворения актуальной потребности, эмоции сами по себе не могут доставить дополнительных сведений об этих способах и средствах. Недостающая информации добыва­ется путем обучения, поисково-исследовательской деятель­ности (поведения), мобилизации хранящихся в памяти следов и т. п. Эмоции не восполняют дефицит информа­ции, но замещают ее. Эмоционально возбужденное жи­вотное (увы, в отдельных случаях и человек) переходит к подражательному поведению не потому, что уясняет причину массового панического бегства, а потому, что в процессе длительной эволюции закрепилось правило: если не понимаешь, что следует делать, действуй так, как другие. Более того, подражательное поведение адресуется непосредственно к подсознанию, минуя сознательный кон­троль воспроизводимых действий.

**Мозговые механизмы эмоций**

Рассматривая генез эмоций и организацию поведения в системе координат «потребность — вероятность ее удов­летворения», информационная теория эмоций позволила уточнить, а в ряде случаев и обнаружить новые ранее неизвестные функции мозговых структур, традиционно относимых к «эмоциональному мозгу». Было эксперимен­тально установлено, что оценка вероятности подкрепления (удовлетворения потребности) связана с деятельностью передних отделов новой коры и гиппокампа, причем со­хранность неокортекса важна для ориентации поведения па сигналы высоковероятных событий, а гиппокамп необ­ходим для реакций на сигналы с низкой вероятностью подкрепления, что так характерно для эмоционально воз­бужденного мозга. В то же время система «ядра миндале­видного комплекса — гипоталамус» малочувствительна к изменению вероятности подкрепления, поскольку важ­нейшей функцией этой системы является выделение до­минирующей потребности с учетом сосуществующих и (или) конкурирующих мотиваций. Экспериментально по­казано, что после разрушения миндалины животное может осуществлять целенаправленное поведение только при искусственно созданном явном преобладании одной моти­вации над другой.

Оказалось, далее, что одновременное повреждение пе­редних отделов новой коры и гиппокампа ведет к измене­ниям поведения, сопоставимым со сдвигом по шкале экстра- и интровертированности, а последствия разруше­ния фронтальной коры и части ядер гипоталамуса сопо­ставимы со сдвигом по шкале «эмоциональная стабиль­ность — невротицизм». Тем самым была показана связь классических параметров темперамента (типов нервной системы — по Павлову) с индивидуальными особенно­стями взаимодействия лимбических структур мозга. При этом было выявлено, что экстра- и интровертированность по Айзенку не тождественна силе нервной системы, но представляет самостоятельный параметр, который должен быть добавлен к общим свойствам нервной системы, опи­санным в типологиях античных авторов, И. П. Павлова, Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына.

В отличие от многих других гипотетических схем орга­низации поведения, мы видим преимущество потребностно-информационного подхода в том, что постулируемые им узловые компоненты церебральной деятельности хо­рошо накладываются на физиологические механизмы и анатомическое строение реального мозга, обеспечивая «приурочивание динамики к структуре» (*И. П. Павлов*).

**Значение информационной теории эмоций**

**для теории и практики психологии**

Мы хотим еще раз напомнить читателю ряд положе­ний, сформулированных на основе этой теории.

1. Возникновение эмоций в связи с преодолением пре­пятствий и задолго до достижения конечной цели позво­ляло сформулировать представление о воле, как о специ­фической *потребности*, обладающей известной самостоя­тельностью по отношению к мотиву, первично иницииру­ющему поведение. Прообразом этой потребности на до-человеческих этапах эволюции является «рефлекс сво­боды», впервые открытый и описанный И. П. Павловым.

2. Тщательный анализ эмоций, возникающих при про­гнозировании вероятности достижения цели на неосозна­ваемом уровне, привел к выводу о необходимости разли­чения двух разновидностей неосознаваемого психического: подсознания и сверхсознания. Оказалось, что деятельность сверхсознания всегда инициируется главенствующей по­требностью, устойчиво доминирующей в иерархии моти­вов данной личности. Подсознание оперирует как вто­рично неосознаваемыми сведениями, навыками, социаль­ными нормами, первично контролировавшимися созна­нием, так и опытом, приобретенным непосредственно, путем имитационного поведения.

3. Неполное, лишь частичное осознание человеком движущих им мотивов позволяет спять кажущееся проти­воречие между *объективной* детерминированностью пове­дения (наследственными задатками и социальным воспи­танием) и *субъективно* ощущаемой свободой выбора. Во­прос, свободен человек в своем выборе или нет, но имеет однозначного ответа. Этот вопрос требует применения принципа дополнительности, потому что ответ на него за­висит от позиции наблюдателя. Человек свободен (детер­минирован) с точки зрения внешнего наблюдателя, рас­сматривающего детерминацию поведения генетическими задатками и условиями окружающей, прежде всего со­циальной, среды. Вместе с тем и в то же самое время че­ловек свободен в своем выборе с точки зрения рефлекти­рующего сознания. На этой социально полезной иллюзии базируется существование этики и личной ответственно­сти, которые возможны лишь при наличии безусловной свободы выбора (*Гегель*).

4. Будучи внутренне связанными между собой в одну систему, основные исходные потребности невыводимы друг из друга, а любая степень удовлетворения одних потреб­ностей неспособна заменить неудовлетворенности других. При этом ни воля, ни сознание не являются регулято­рами, помещенными как бы *над* сферой потребностей, чтобы контролировать последовательность и допустимость их удовлетворения. В случае конфликта мотивов потреб­ности может противостоять только другая потребность. Вмешательство сознания в сферу потребностей и мотивов возможно путем сообщения субъекту информации о средствах и способах удовлетворения его актуальных потребностей. Оно обязательно опосредствовано участием возникающих при этом эмоций. Прямая апелляция к со­знанию, формальное ознакомление субъекта с системой социальных ценностей и норм малоэффективны, о чем свидетельствуют дефекты воспитательной практики.

5. Мы все еще находимся в плену абстрактных призывов к воспитанию «богатого мира эмоций» путем приобщения воспитуемых к искусству, природе, к заботе о домашних животных и т. п. Однако жизнь многократно показывает (для этого достаточно познакомиться с публикациями «Литературной газеты» последних лет), как молодые люди, изучающие английский язык, играющие на рояле и любящие своих собачек, оказываются способны на совершение жестоких и безнравственных поступков, Потому что целью истинного воспитания является не «обогащение сферы чувств», а формирование с помощью эмоций такого набора и такой иерархии потребностей, ко­торые окажутся оптимальны и для общества и для само­реализации личности. Формирование социально ценной личности — это, прежде всего обогащение и возвышение потребностей данного человека, готовность «для высшего наслаждения отречься от низших» в соответствии с ле­нинским «законом возвышения потребностей».

6. Информационная теория эмоций указывает на два основных пути борьбы с нежелательным эмоциональным напряжением, способным оказать отрицательное влияние на деятельность и здоровье человека. Во-первых, это мак­симальное информирование человека о способах и сред­ствах решения стоящей перед ним задачи, максимальная вооруженность субъекта соответствующими знаниями и навыками, профессиональным опытом, включающим уме­ние использовать этот опыт для достижения цели. Важно, чтобы в любой экстремальной ситуации человек продол­жал активный поиск способов се преодоления, поиск вы­хода из нее. Даже в том случае, если ситуация остается сложной и трудноразрешимой, активная деятельность пре­пятствует дезорганизующему влиянию отрицательных эмоций и их вредному воздействию на здоровье.

Во-вторых, это — заблаговременное воспитание тех со­циальных и идеальных мотивов поведения, которые должны занять господствующее положение в самых кри­тических ситуациях, оттеснив потребности самосохране­ния или ложно понятого престижа. Эмпирическая наблю­дательность давно отметила решающее значение домини­рующей потребности, четко различая, например, есте­ственный для любого человека страх от трусости, т. е. эмоционального состояния, где эгоистическая потребность самосохранения возобладала над социальными и идеаль­ными мотивациями.

Пусть читатель рассудит, какая из существующих ныне теорий способна с большей полнотой и обоснован­ностью определить отражательную и регуляторные функ­ции эмоций, дать их классификацию, «наложиться» на имеющиеся ныне сведения о мозговых механизмах эмо­ций, послужить основой для решения актуальных проб­лем прикладной психофизиологии, для познания есте­ственнонаучных основ человеческой индивидуальности.

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Введение 5

В поисках параметров индивидуальности 13

Мотивационное ядро личности 23

Действующие лица 41

По ту сторону эмоциональности 56

Вооружение культурой 65

Возвышение потребностей 80

Рефлекс цели Павлова, доминанта Ухтомского и

сверхзадача Станиславского 100

От поведения к личности 106

Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера 117

Личность и юмор 134

Наука о воспитании и воспитание как искусство 143

Заключение 148

Павел Васильевич Симонов, Петр Михайлович Ершов ТЕМПЕРАМЕНТ. ХАРАКТЕР. ЛИЧНОСТЬ

Утверждено к печати редколлегией серии научно-популярных изданий Академии наук СССР

Редактор издательства Е. А. Колпакова

Художник В. А. Кобрин. Художественный редактор А. И. Драговой

Технические редакторы M. Л. Анучииа, Н. Н. Плохова

Корректоры Е. Н. Белоусова, Г. Г. Петропавловская

И Б № 27351

Сдано в набор 25.07.83. Подписано к печати 10.01.84. T-03511.

Формат: 84 х 132 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 9,3. Усл. кр. отт. 8,7.

Тираж 122 000 экз. Тип. зак. 624. Цена 55 коп.

Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени

1-я тип. издательства «Наука» 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

1. Симонов П. В. Метод К. С. Станиславского и физиология эмо­ций. М.: Изд-во АН СССР, 1962. [↑](#footnote-ref-2)
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 623. [↑](#footnote-ref-3)
3. БСЭ, 3 изд., 1976, т. 25, с. 415. [↑](#footnote-ref-4)
4. Там же, 1978, т. 28, с. 193. [↑](#footnote-ref-5)
5. Там же, 1973, т. 14, с. 578. [↑](#footnote-ref-6)
6. Там же, с. 579. [↑](#footnote-ref-7)
7. Подробнее об этом см.: Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. М: Наука, 1979. [↑](#footnote-ref-8)
8. Павлов П. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М.: Наука, 1973. с. 321. [↑](#footnote-ref-9)
9. Там же, с. 323, 406. [↑](#footnote-ref-10)
10. Там же, с. 411. [↑](#footnote-ref-11)
11. Физиол. журн., 1954, т. 40, № 5, с. 618. [↑](#footnote-ref-12)
12. Беляев Д. К. Современная наука и проблемы исследования человека. — Вопр. философии, 1981, № 3, с. 5. [↑](#footnote-ref-13)
13. Лобачевский Н. И. О началах геометрии. – Наука и жизнь. 1976, № 5, с 39 [↑](#footnote-ref-14)
14. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 20, с. 493 [↑](#footnote-ref-15)
15. Там же, т. 3., с. 245 [↑](#footnote-ref-16)
16. Там же, т. 42., с. 163 [↑](#footnote-ref-17)
17. Обуховский К. Психология влечений человека. М.: Прогресс, 1972. [↑](#footnote-ref-18)
18. Септ-Экзюпери А. Планета людей. М., 1957, с. 104. [↑](#footnote-ref-19)
19. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1931. [↑](#footnote-ref-20)
20. Грекова И. Вдовий пароход. – Новый мир. 1981, № 5, с. 86 [↑](#footnote-ref-21)
21. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 34, с. 138. [↑](#footnote-ref-22)
22. Афанасьев В. Человек в управлении обществом. М, 1977 [↑](#footnote-ref-23)
23. Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового пове­дения. М.: Наука. 1976 [↑](#footnote-ref-24)
24. Костандов Э. А. Восприятие и эмоции. М.: Медицина, 1977. [↑](#footnote-ref-25)
25. Milgram S. Obedience to authority. N. Y., 1974. [↑](#footnote-ref-26)
26. Беляев Д. К. Современная наука и проблемы исследования че­ловека. — Вопр. философии, 1981, № 3, с. 10—11. [↑](#footnote-ref-27)
27. Гербер А. Без черновиков. — Юность, 1971, № 7, с. 84 [↑](#footnote-ref-28)
28. Fromm Е. The art of loving. London, 1964, p. 60. [↑](#footnote-ref-29)
29. Фейербах Л. Избр. филос. произведения. М.. 1955, т. 1, с. 630. [↑](#footnote-ref-30)
30. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 182. [↑](#footnote-ref-31)
31. Маркуша А. Откровенно говоря. — Наука и жизнь, 1979, № 3, с. 66. [↑](#footnote-ref-32)
32. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. If.; Л., 1959, т. 53, с. 185—187 [↑](#footnote-ref-33)
33. Рымарь В. Откуда берутся неудачники? — Лит. газ., 1974, сент., № 38, с. 11. [↑](#footnote-ref-34)
34. Общая психология. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976, с. 392. [↑](#footnote-ref-35)
35. Чхартишвили Ш. Н. Проблема воли в психологии. — Вопр. пси­хологии, 1967, № 4, с. 72—81 [↑](#footnote-ref-36)
36. Баканов Е. Н. Стадии развития волевых процессов. — Вести. МГУ. Сер. 14, Психология, 1977, № 4, с. 12. [↑](#footnote-ref-37)
37. Новинский И. И. Очерки по диалектическому материализму. М.: Наука, 1977, с, 76 [↑](#footnote-ref-38)
38. Павлов И. П. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1951, т. 3, кн. 1, с. 343. [↑](#footnote-ref-39)
39. БСЭ. 2-е изд., 1951, т. 8, с. 306. [↑](#footnote-ref-40)
40. Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956, с. 379. [↑](#footnote-ref-41)
41. Доброхотова Т. А., Брагина И. Н. Пространственно-временные факторы в организации нервно-психической деятельности. – Вопр. философии, 1975, № 5, с. 133 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ухтомский А. А. Собр. соч. Л.: Изд-во ЛГУ. 1950; т. 1, с. 279 [↑](#footnote-ref-43)
43. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 368. [↑](#footnote-ref-44)
44. Мерлин В. С, Вяткин Б. А. Общая психология. М.: Просвеще­ние, 1970, с, 414-417. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства. М.: Медицина, 1978, с. 323. [↑](#footnote-ref-46)
46. Вейн А. М. Лекции по неврологии неспецифических систем мозга. М.: Моск. мед. ин-т, 1974. [↑](#footnote-ref-47)
47. Лобачевский Н. Н. О важнейших предметах воспитания. — Наука и жизнь, 1976, № 5, с. 41. [↑](#footnote-ref-48)
48. В. Е. Давидович и Ю. А. Жданов определяют феномен куль­туры как «способ человеческой деятельности» в самом широком смысле. См. их книгу: Сущность культуры. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1979. [↑](#footnote-ref-49)
49. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1895, т. 11, с. 3—4. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ухтомский А, А. Доминанта. М.; Л.: Наука, 1966, с. 258. [↑](#footnote-ref-51)
51. Арх. Маркса и Энгельса, т. 2 (7), с. 235. [↑](#footnote-ref-52)
52. Подробный обзор данных о специализации и парной работе полушарий мозга человека читатель может найти в книге: Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А. Функциональные асимметрии человека. М.: Медицина, 1981. [↑](#footnote-ref-53)
53. К мотивационным конфликтам относят одновременно суще­ствующие побуждения, удовлетворение которых исключает друг друга. Классический пример — любовь, противоречащая сослов­ным, религиозным и тому подобным нормам, принятым в данном сообществе. [↑](#footnote-ref-54)
54. Согласно представлениям Фрейда, «Сверх-Я» представляет в психике индивида требования общества, его запреты, его ве­ления. Конфликт между сферой биологических влечений («Оно») и цензурой «Сверх-Я» ведет к активации механизмов психологической защиты, а в случае ее неэффективности — к развитию невротических заболеваний. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ярошевский М. К. Категориальная регуляция научной деятель­ности.— Вопр. философии, 1973, № 11, с. 74. [↑](#footnote-ref-56)
56. Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека: Мотивационно-эмоциональные аспекты. М.: Наука, 1975, с. 81; *Он же*. Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творче­ской системе К. С. Станиславского. — В кн.: Бессознательное. Тбилиси: Мецниереба, 1978, т. 2, с. 518—528; *Он же*. Эмоцио­нальный мозг. М.: Наука, 1981, с. 173—195; и др. [↑](#footnote-ref-57)
57. Яркие примеры тому читатель может найти в книге: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области ма­тематики. М.: Сов. радио, 1970. [↑](#footnote-ref-58)
58. Фейнберг Е. Л. Кибернетика, логика, искусство. М.: Радио и связь, 1981 [↑](#footnote-ref-59)
59. Симонов П. В. Детерминизм и свобода выбора. — В кн.: Методологические проблемы физиологии высшей нервной деятельности. М.: Наука, 1982, с. 86 [↑](#footnote-ref-60)
60. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 2, с. 102 [↑](#footnote-ref-61)
61. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 101. [↑](#footnote-ref-62)
62. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1950, с. 596. [↑](#footnote-ref-63)
63. Рунин Б. М. Творческий процесс в эволюционном аспекте. — Природа, 1971, № 9, с. 6. [↑](#footnote-ref-64)
64. Тимирязев К. А. Соч. М.: Сельхозгиз, 1939, т. 6, с. 220. [↑](#footnote-ref-65)
65. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения выс­шей нервной деятельности (поведения) животных. М.: Наука, 1973, с. 588. [↑](#footnote-ref-66)
66. Popper К., Eccles J. The self and its brain. N. Y., 1977, p. 137—138. [↑](#footnote-ref-67)
67. Харкевич А. А. О ценности информации. — Пробл. кибернетики, I960, № 4, с. 53 [↑](#footnote-ref-68)
68. Волькенштейн М. В. Биофизика. М.: Наука, 1981, с. 557. [↑](#footnote-ref-69)
69. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 555. [↑](#footnote-ref-70)
70. Симонов П. В. Эмоциональное возбуждение и психический му­тагенез. — В кн.: Второй симпозиум по проблеме «Человек и машина». М., 1966, с. 28. [↑](#footnote-ref-71)
71. Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980, с. 351. [↑](#footnote-ref-72)
72. Майоров Ф. П. Нервный механизм сновидений. Л.: Наука, 1970, с. 111. [↑](#footnote-ref-73)
73. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения и области математики. М.: Сов. радио, 1970, с. 79. [↑](#footnote-ref-74)
74. Цит. по: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики, с. 92. [↑](#footnote-ref-75)
75. Там же, с. 13. [↑](#footnote-ref-76)
76. Павлыгина Р.А. Доминанта и условный рефлекс ВЦ стадии ге­нерализации. — Журн. высш. нерв, деятельности, 1973, т. 23, № 4, с. 087 [↑](#footnote-ref-77)
77. Беляев Д. К. Некоторые генетико-эволюционные проблемы стресса и стрессируемости. — Вести. АМН СССР, 1979, № 7, с. 9; *Он же*. О некоторых факторах эволюции гоминид. — Вопр. философии, 1981, № 8, с. 69. [↑](#footnote-ref-78)
78. Ройтбак А. И. К вопросу о бессознательном с точки зрения нейроглиальной гипотезы образования временных связей. — В кн.: Бессознательное. Тбилиси: Мецнереба, 1978, т. 1, с. 606. [↑](#footnote-ref-79)
79. Ротенберг В. С. Активность сновидений и проблема бессозна­тельного.— В кн.: Бессознательное. Тбилиси: Мецпиереба, 1978, т. 2, с. 99. [↑](#footnote-ref-80)
80. Кругликов Р. И. Детерминизм и память. — Вопр. философии, 1980, № 6, с. 145. [↑](#footnote-ref-81)
81. I.evine R., Chein I., Murphy G. The relation of the intensity of a need to the amount of perceptual distortion. — J. of Psycho­logy, 1942, vol. 13. [↑](#footnote-ref-82)
82. Исследование психологии процесса изобретения в области ма­тематики. М.: Сов. радио, 1970, с. 137. [↑](#footnote-ref-83)
83. Гиляров М. С. Некоторые методологические проблемы теории эволюции в биологии. — В кн.: Материалы III Всесоюзного со­вещания по философским вопросам современного естествозна­ния. М.: Наука, 1981, вып. 1, с. 125 [↑](#footnote-ref-84)
84. Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980, с. 351. [↑](#footnote-ref-85)
85. Ярошевский М. Г. А. А. Ухтомский и проблема мотивации по­ведения. — Вопр. психологии, 1975, № 3, с. 15. [↑](#footnote-ref-86)
86. Дубровский Д. И. Информация, сознание, мозг. М.: Высш. шк., 1980, с. 210. [↑](#footnote-ref-87)
87. Sperry R. W. Mind-brain interaction: Mentalism, yes; dualism, no. — Neuroscience, 1980, vol. 5, N 2, p 20 [↑](#footnote-ref-88)
88. Цит. по: Ярошевский М. Г. Психология пауки. — Вопр. филосо­фии, 1907, № 5, с. 85 [↑](#footnote-ref-89)
89. Станиславский К. С. Собр. соч. М.: Искусство, 1954, т. 2, с. 24 [↑](#footnote-ref-90)
90. 28 Станиславский К. С. Собр. соч., т. 1, с. 406 [↑](#footnote-ref-91)
91. Шаляпин Ф. И.: Сборник. В 2-х т. М.. 1957, т. 1, с. 287—288. [↑](#footnote-ref-92)
92. Станиславский К. С. Собр. соч., т. 1, с. 406 [↑](#footnote-ref-93)
93. Там же, т. 2, с. 332 [↑](#footnote-ref-94)
94. Ершов П. М. Технология актерского искусства. М.: ВТО, 1959, с. 172-176. [↑](#footnote-ref-95)
95. Ухтомский А. А. Письма. — Новый мир, 1973, № 1, с. 255. [↑](#footnote-ref-96)
96. Станиславский К. С. Собр. соч. М.: Искусство, 1954, т. 2, с. 51 [↑](#footnote-ref-97)
97. Ершов П. М. Технология актерского искусства. М.: ВТО, 1959, с. 98—101 [↑](#footnote-ref-98)
98. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. М., Искусство, 1972, с. 50 [↑](#footnote-ref-99)
99. В кн.: Л. К. Буров. М.: Искусство, 1980, с. 94 [↑](#footnote-ref-100)
100. Горчаков Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952. [↑](#footnote-ref-101)
101. Театр, 1958, № 10, с. 52, 53. [↑](#footnote-ref-102)
102. Сов. культура, 1976, № 56, с. 4. [↑](#footnote-ref-103)
103. Станиславский К. С. Собр. соч., 1957, т. 2, с. 51—52. Подчерк­нуто нами. — П. С, П. Е. [↑](#footnote-ref-104)
104. Сеченов И. М. Избр. произведения. М.: Изд-во АН СССР, 1952, т. 1, с. 516. [↑](#footnote-ref-105)
105. Станиславский К. С. Собр. соч., 1957, т. 2, с. 57. [↑](#footnote-ref-106)
106. Там же, с. 62 [↑](#footnote-ref-107)
107. Иностр. лит., 1973, № 10, с, 216 [↑](#footnote-ref-108)
108. Кожевников В. Щит и меч. — Роман газета, 1965, № 20, с. 42. [↑](#footnote-ref-109)
109. Станиславский К. С. Собр. соч., 1957, т. 2, с. 363. [↑](#footnote-ref-110)
110. Станиславский К. С. Статьи, речи, беседы, письма. М.: Искусство, 1959, с. 656. [↑](#footnote-ref-111)
111. Станиславский К. С. Собр. соч., 1957, т. 2, с. 337. [↑](#footnote-ref-112)
112. Выготский Л. С. Психология искусства. М.; Искусство, 1965, с. 55. [↑](#footnote-ref-113)
113. Достоевский Ф. М. Подросток. — Поли. собр. соч. СПб., 1882, т, 2, с. 342—343. [↑](#footnote-ref-114)
114. Lorenz К. On aggression. N. Y.: Bantam Book, 1967, p. 288. [↑](#footnote-ref-115)
115. Ершов П. M. Режиссура как практическая психология. M., Искусство, 1972. [↑](#footnote-ref-116)
116. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т, 1, С, 418. [↑](#footnote-ref-117)
117. Уоррен Р. П. Вся королевская рать. — Новый мир, 1908, № 9, стр. 76 – 77. [↑](#footnote-ref-118)
118. Симонов П. В. Познание неосознаваемого.— Наука и жизнь, 1980, № 1, с. 60-67. [↑](#footnote-ref-119)
119. Знание — сила, 1970, № 8, с. 1. [↑](#footnote-ref-120)
120. Достоевский Ф. М. Собр. соч. М., 1958, т. 9, С. 75—76. [↑](#footnote-ref-121)
121. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 2. [↑](#footnote-ref-122)
122. Цит. по: Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979, с. 7 [↑](#footnote-ref-123)
123. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. [↑](#footnote-ref-124)
124. McGrath I. Stress and behavior in organizations. — In: Handbook of industrial and organizational psychology, Chicago, 1976 [↑](#footnote-ref-125)
125. Анохин П. К. Эмоции. — В кн.: Большая мед. энциклопедия, 1964, т. 35, с. 355. [↑](#footnote-ref-126)
126. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной си­стемы. М.; Наука, 1978, с. 272. [↑](#footnote-ref-127)
127. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. М.: Наука, 1979 [↑](#footnote-ref-128)
128. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978 [↑](#footnote-ref-129)
129. Додонов Б. И. О так называемой «информационной теории эмо­ций», — Психол. журн., 1983, т, 4, № 2, с. 104—116. [↑](#footnote-ref-130)